



НОВАЯ ПОЛЬША 1/2007

Содержание

1. МЫ ВСЕГДА МОГЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА НЕГО
2. «...КОГДА БЫЛИ СОБЫТИЯ, МЫ РАЗ ЗА РАЗОМ ОБСУЖДАЛИ ПОЛЬШУ»
3. ПОЛЬСКИМ ПОЛИТОЛОГАМ, СОЦИОЛОГАМ, ИСТОРИКАМ НЕ НАДО БЫЛО ОБЪЯСНЯТЬ, КТО ТАКОЙ ЮРИЙ ЛЕВАДА
4. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
5. СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК: МЕЩАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
6. СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ
7. НЕ ОБИЖАТЬСЯ НА ТОЛПУ
8. ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
9. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

МЫ ВСЕГДА МОГЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА НЕГО

Его нельзя было ни запугать, ни подкупить. Никогда. Он никому не прислуживал. Ни власти, ни системе. Юрий Левада, самый выдающийся, самый объективный российский социолог, скончался от сердечного приступа у себя в кабинете 16 ноября 2006 года. Ему было 76 лет. Он уже давно плохо себя чувствовал, а когда у него случился приступ и сотрудники вызвали «скорую помощь», машина ехала на Никольскую, где находится Левада-Центр, больше 40 минут. Неизвестно — может быть, было бы уже поздно, даже если бы врачи приехали спасать его раньше.

Он был совершенно независимым человеком. Еще в 1960 г., когда о перестройке, разумеется, никто и не мечтал, он вылетел из Московского университета за «идеологические ошибки», которые постоянно допускал на лекциях. Это его ничему не научило, и лет через десять тираж его книги «Лекции по социологии» пошел под нож, а Леваду лишили звания профессора, запретили преподавать и печататься. Только в июле 1988 г. он пришел в недавно созданный ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), который под его руководством приобрел славу одного из самых достоверных и уважаемых в мире такого рода институтов.

А когда в сентябре 2003 г. нынешняя власть решила национализировать центр и сменить его руководство, то есть назначить людей, более к ней благожелательных и готовых исполнять ее желания, все сотрудники Левады (кроме одного-единственного) ушли вместе с ним.

Тогда возник Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр).

Пожалуй, больше всего Юрия Леваду интересовала антропология советского человека, его приспособление к новым, изменившимся постимперским условиям, жизнь, как написал его близкий коллега Борис Дубин, «на руинах тоталитарного режима».

«Новая газета» в некрологе цитирует слова Левады: «Когда я стал заниматься этой наукой, у меня было такое представление: наша задача — поставить перед обществом

зеркало, чтобы оно в него смотрелось. И я думаю, мы ее по мере возможности исполняли. Когда люди смотрятся в зеркало, они лучше понимают, как они выглядят. Это и есть главная общественная функция социологии».

Я познакомилась с Левадой в начале 90-х, когда он приехал на конференцию в Краков. Он дал мне номер телефона — обещал, что всегда ответит на все вопросы, которые «Газета выборча» захочет ему задать. Так оно и было. Никогда он нам не отказывал, никогда не отговаривался, например нехваткой времени, которого у него и на самом деле было немного. Мы всегда могли на него рассчитывать. До самой смерти.

«...КОГДА БЫЛИ СОБЫТИЯ, МЫ РАЗ ЗА РАЗОМ ОБСУЖДАЛИ ПОЛЬШУ»

16 ноября скончался крупнейший российский социолог Юрий Левада, два раза воссоздававший социологию в стране из фактического небытия. Мы публикуем интервью с Юрием Левадой, записанное Татьяной Косиновой 4 сентября 2006 года. Текст его так и не был авторизован — Юрий Александрович не успел этого сделать.

Интервью готовится к публикации в книге «Последний польский миф», которая в ближайшие месяцы выйдет в издательстве ОГИ при поддержке Польского культурного центра в Москве.

Книга Татьяны Косиновой «Последний польский миф» составлена на основе записанных ею в 1991–2006 гг. интервью с бывшими советскими и польскими политзаключенными, правозащитниками, деятелями андеграунда, а также литераторами, социологами и журналистами о восприятии ими различных событий и явлений культуры в СССР и в Польше в 50–е — 80–е годы прошлого века. Мифология Польши как «самого веселого и свободного барака в социалистическом лагере», как «Запада на Востоке и Востока на Западе» в те годы устойчиво бытовала не только в среде диссидентов, но и в более широких кругах творческой и научной интеллигенции в СССР. В книге представлены структура, типология и семантика этого «последнего польского мифа».

— С какого года вы стали следить за польскими событиями?

— С 1956, с «Паздзерника» [«Октябрь»]. Для меня это действительно одна из важных биографических точек интереса — польская. Первая точка — это 1956-й, то, что называется «Польский Октябрь». А вторая — это «Солидарность», конечно.

— Какие были у вас источники информации о Польше?

— С 1956-го я стал регулярно читать польские газеты. Они все-таки немножко более талантливые были. «Жиче Варшавы» прежде всего, «Политику», когда удавалось доставать, ну и

всякое прочее. Я слышал рассказы разных людей, чего-то читал, я не помню.

— *Но в 1956 году «Польский Октябрь» был уже после XX съезда.*

— После Познани.

— *Да, и после Познани. И все равно вы говорите, что именно октябрьским событиям вы придавали значение. Какое?*

— После XX съезда был вопрос: насколько это серьезно? Насколько это получится и укоренится? Вопрос был не только словесный, но реальный. Уже начало трещать все — от мировоззрения до системы империи. Но «Октябрь» стал существенной акцией. Возвращение Гомулки было поначалу серьезным поражением Москвы, по-видимому. Насколько я понимаю, Никита [Хрущев] с большим трудом на это согласился. Это был акт резкой реабилитации и надежды, отсюда это претенциозное и несерьезное использование термина «Польский Октябрь». Но так или иначе какой-то рывок к необратимым переменам был сделан. Позже их несколько припрятали, но они были.

— *А дальнейшее развитие событий тоже интересовало вас?*

— Регулярного увлечения Польшей не было, интерес у меня был достаточно вялый. Корешки есть родовые, но это уже отдельные вещи.

— *Есть «корешки»?*

— Есть корешки.

— *Они имеют какое-то значение для вас? Для вашего самосознания?*

— Нет, нет. Просто у меня бабушка была полька, в доме говорили по-польски, была литература. И я это начал понимать довольно давно, вне всякой политики. Это поколение было насмерть напугано в 20-х — 30-х годах. Насколько я знаю, и бабушка, и мать очень не хотели, чтобы об этом вспоминали, потому что они помнили, чем для людей польского происхождения был какой-нибудь 1938 примерно год.

— *Кто-то пострадал у вас? Кто-то оказался «польским шпионом»?*

— В личном порядке, в семье — не знаю. Из знакомых, более или менее близких знакомых, — да. Но уже не как «польский

шпион», а как польский коммунист. Это была вторая волна арестов.

— *А как бабушка оказалась в России?*

— Она жила всегда в Киеве. На правобережной Украине исторически всегда было полно поляков, потому что в прошлом это была Речь Посполитая, и традиционно все паны, дворянство польское там селилось.

— *Бабушка была из дворянского рода?*

— Бабушка по корням своим была из графского рода Сангелло — польско-литовский графский род. Но этих корней она сама не знала. Ее звали Казимира Вахлевская, это ее девичья фамилия. А Сангелло — это, вероятно, ее дальние предки по женской линии. Но я это знаю по бумагам.

— *Вы пытались выяснить свои корни, искали что-то когда-нибудь?*

— Нет, нет. Это по рассказам, то, что я слышал. Я слышал, что у нее был брат, а может быть, кузен. Где-то в 20-х годах он был чуть ли не каким-то сенатором в Польше. Связи с ним оборвали в середине 20-х, больше никто ничего и не знал. Страшно все боялись об этом упоминать. И понятно, почему.

— *Польско-большевистская война 1920 года — что-нибудь об этом есть в семейных преданиях?*

— Этого я не знаю. Нет, этих следов не было.

— *А взятие и освобождение Киева поляками? Бабушка никогда не вспоминала этого?*

— Нет. Это было все-таки довольно кратковременно. И, по-моему, это было на межгосударственном уровне. Я не слышал, чтобы на польское население правобережной Украины это когда-нибудь влияло. Может быть, я не знаю. Проблемы выделения поляков начались где-то в районе 1936-го, это уже сталинская охота была.

— *Бабушка предпринимала какие-то усилия по смене фамилии?*

— Зачем?

— *То есть бабушка никак не пострадала ни в 1937-м, ни в 1938-м?*

— Нет. Тут другие проблемы. Муж бабушки имел еврейскую фамилию, а бабушка осталась в оккупации. Вот этого ей не надо

было показывать. И она восстановила девичью фамилию. Но ничего, обошлось. Но это не относится к делу.

— Второй точкой интереса вы назвали «Солидарность». Виктор Шейнис мне рассказывал о каких-то неформальных семинарах, на которых вы с коллегами обсуждали польские события. Что это были за семинары?

— Называть это словом «семинар» было бы неуместно, особенно мне. Потому что я очень много лет занимался семинаром другого типа — с коллегами, с докладами, с обсуждениями. Они были разные: широкие, узкие, совсем узкие. С 1960 г. они проходили в Институте философии, потом в Институте социологии...

Тут было другое дело. Речь идет о регулярных неформальных встречах близких людей, которые происходили с конца 1970-х — наверное, и дальше. Собирались мы чаще всего у Леонида Абрамовича Гордона, уже лет шесть как покойного, в 2000 г. он умер. Он был очень хороший домашний организатор, и были у него подходящие условия. Встречались мы тогда если не совсем каждую неделю, то раз в две недели, наверное. Особенно когда грянула польская «Солидарность». Было невероятно интересно, очень тревожно. Думали, что из этого может произойти. Гордон был исследователем рабочего движения по основной своей профессии, его события интересовали с этой стороны прежде всего. Было нас человек пять-шесть, иногда приезжал кто-нибудь, особенно приезжали некоторые знакомые из Питера (вернее, тогда из Ленинграда) и из Киева. Но это не был формальный семинар, это был просто — в кругу полностью доверяющих друг другу людей — разговор о том, что происходит, что может быть. Иногда попадали люди, которые казались очевидцами. Например, Гордон позвал на польский семинар человека по фамилии Ципко, Александра Сергеевича Ципко. Сегодня это довольно известный политик и публицист, тогда не было понятно многое в его убеждениях и возможности проверить не было. Но он единственный из всех знакомых в 1980 г. был в Варшаве, был послан туда в аспирантуру. Но то, что он нам рассказал, было странным. Он вроде бы бывал в гуще событий и знал всех, кто в университете, кто на улице и так далее. Нам он внушал несколько странную идею, что «это все натворили масоны и за всем этим они стоят». С этого момента мне стало неинтересно с ним что-либо обсуждать. Но это довольно редкий пример попадания инородного тела. Совсем инородного. Это было нечто постороннее. Дальше он стал известен как ярый «патриот» и сейчас в этом качестве пребывает.

— *Вы называли семинар «польским». Он тогда так и назывался?*

— Нет, конечно. Просто, когда были события, мы раз за разом обсуждали Польшу. Мы обсуждали все, что угодно, польским он никогда не назывался.

— *Как они проходили? Как устраивались? Заранее определялась тема?*

— Собирались, пили чай или что-нибудь другое, закусывали и говорили на разные интересующие всех темы. Я помню, как обсуждали пришествие Горбачева. Я ему сначала не верил совершенно. Считал, что это очередной Черненко. Но потом исправился. Но не сразу и не на семинаре. Я был уже большой скептик и на веру старался не поддерживать ничего другого. Какой-то специальной темы не было.

— *Кроме Ципко не было других докладчиков?*

— Не знаю, может быть, и были, ей-богу, я не помню. По-моему, никто не вел ни записей, ни протоколов. С Ципко был немножко исключительный случай, поэтому он у меня в памяти отложился...

Я помню, с каким интересом 31 августа [1980] мы восприняли Гданьские соглашения. Мы ждали, конечно, войны перед этим и представить себе не могли, что власть может так поступить. Все остальное уже было проще. Но это был сигнал очень важный. В общем-то, важный и для общего развития тоже. Поляки его считают признаком конца системы. Может быть, они немножко преувеличивают, но связь была... Но с тех пор, как у нас открылось общество, наши семинары потеряли свой смысл. Обо всем можно было читать в газетах и говорить в клубах и на собраниях. И все такого рода семинары, по-моему, кончили функционировать.

— *Когда вы поняли, что семинары утратили свой смысл?*

— Это было во второй половине 80-х, году в 1986, 1987, — точно, конечно, я не помню. Как-то угас интерес. Сейчас иногда я слышу рассуждения, что когда-нибудь мы опять вернемся к домашним семинарам в связи со всеми тенденциями в нашей публичной жизни. Но этого, по-моему, нигде не происходит. Я не слышу, не натыкался на такой пример. Сменились поколения людей, и сменились условия. То поколение, к которому я, пусть это нагло сказано, имею честь принадлежать, оно уже не соберется. А что касается следующих, я не знаю.

— Скажите, пожалуйста, у вас были надежды, что события у нас здесь начнут развиваться как-то аналогично?

— Нет. Нет, нет. Ни тогда не было, ни сейчас нет. Потому что в особенности для организованного протеста, для самоорганизованного протеста в Польше были такие факторы, как элементы рабочего движения. Были они не только с Познани 1956 года, но и пораньше немножко. События на заводе имени Цегельского в Познани и их жесточайшее подавление все-таки были элементом восстания. У нас ничего подобного не было — не знаю, почему, это можно объяснять, но судьба такая: в России ни до 1917-го, ни после не было ничего, не было реального рабочего движения, реально профсоюзов не было. У нас они как были казенные, так и остались. Попытка возникновения независимых профсоюзов была в 1989-м, и всё. Может, я не всё знаю, но, насколько я знаю, ничего нет. В Польше была интеллигентская база, сколько-нибудь независимая, там были уровни приспособления тоже, но разные. Определенная связь была с эмиграцией, там не было сплошной отрезанности, как здесь. Кроме того в Польше была Церковь. Церковь была серьезной силой. В 1956-м — не знаю, а в 1980-м — конечно. Там была «постать [фигура] кардинала Вышинского». И его влияние на Западе было очень серьезное. Здесь его воспринимали крайне злобно и карикатурно. Но у нас ничего подобного не было. Ни рабочих, ни интеллигентов, ни Церкви, ни заграницы такой не было. Кроме того, в Польше в 1946-1947 примерно году были признаки насильственного захвата, загоняния за общую решетку, немножко раньше, конечно, — еще с 1944-го. Была Армия Крайова, был Миколайчик. Берут с ним расправился, но в Польше об этом знали. Была довольно бледная ППС, которую присоединили к ППР — выдуманной партии, причем членов ППС было больше, насколько я знаю.

И какие-то традиции политические там были, хотя одно время закамуфлированные.

— Скажите, у вас в 1980 г. не было сожаления, что в Польше возможно то, что там возможно, а здесь — нет?

— Может быть, в какой-то мере и было. Я понимал, что здесь это невозможно, но была надежда, что удастся. Было представление, что это — расшатывание всей системы. Насколько оно далекое, как оно придет, я не знал и предсказывать не брался, но все это казалось интересным. Ужасно интересным... Очень большое огорчение было с 13 декабря. Ну, ничего. Мы тогда проводили один из видов семинара, о котором я вам говорил, но в одном из чужих

заведений в районе Бульварного кольца. Там был такой дворик и стена в проходе. И на этом проходе большими буквами на стене было написано: «Генерал Ярузельский — фашист». Эта надпись висела года два.

— *Она появилась 13 декабря 1981 года?*

— После этого — когда именно, я не знаю. Я не имел к этому отношения и не знаю, имел ли к этому отношение кто-то из тех, кто к нам на семинары ходил. Может быть — да, может быть — нет. Меня поражало, что почему-то она никого из официальных лиц не возмутила. Но я уж не говорю, что это не совсем точно, но неважно. Реакция понятная.

— *Каким было ваше личное отношение к Ярузельскому? Если можно восстановить отношение того времени.*

— Я видел его несколько лет назад, когда праздновался юбилей, не помню чего, может быть, круглая дата с 1989 года. Было собрание, которое организовали разные структуры и «Газета выборча». Они собрали всех президентов, там был и Ярузельский. Старый, слепой почти. Вы знаете, что он говорит сейчас: он всячески уверял, что он никого не хотел убивать, делал всё, только чтобы спасти. А сейчас он всё приветствует — вплоть до вступления Польши в НАТО.

— *А тогда, 13 декабря 1981 года?*

— Тогда я его не видел.

— *И по телевизору не видели?*

— Не все ли равно, что можно увидеть по телевизору, — это же понять нельзя. Я не знаю, но в какой-то мере его объяснения правильные. Он немножко играл свою роль и действительно старался предотвратить прямую оккупацию. То есть предотвратить Будапешт-56. Но там же армия была на стороне восставших. В Польше этого, скорее всего, не было бы, даже если бы была прямая оккупация. Именно из-за Ярузельского, Рокоссовского и всех прочих там был контроль над армией обеспечен. Ну, конечно, тогда было резко отрицательное отношение к Ярузельскому и ко всему происходившему. Хотя было понятно, что он осторожен и разумен.

— *Были среди ваших учеников — каких-нибудь молодых аспирантов или ваших молодых сотрудников — те люди, которых можно назвать «поколением Солидарности»?*

— Не знаю. Я не знаю, можно ли это к кому-нибудь здесь относить. Может быть, и были такие, я не замечал.

— *Я нашла.*

— Нашли? Те, кто проснулся, те просыпались все-таки в 1956-м. А дальше худо-бедно, хуже-лучше, меньше-больше, умнее-глупее, но смогли освободиться. Но вполне может быть, я не знаю более молодых.

— *Сегодня какие у вас с Польшей есть связи, контакты?*

— Иногда встречаюсь с разными людьми, иногда прямо по профессиональному делу, иногда по старым связям. У меня давняя возня с «Газетой выборчей», с паном Адамом [Михником] и его командой.

— *«Давние» — это с какого года?*

— Я первый раз попал в Варшаву еще в 1988 г. с чисто официальной командировкой. Но так получилось, что я был в ЦК ПОРП на семинаре, потом в университете на докладе и вечером у группы Михника. После он мне рассказывал, что он мне такую провокацию устроил, чтобы проверить — испугаюсь или нет, и пришел в восторг. Интересно было среди этих людей. Потом много раз виделись там и здесь. Сейчас в последнее время реже — у них свои интересы.

— *А из каких-то польских писателей, поэтов, музыкантов для вас кто-нибудь важен?*

— Слишком специфических вкусов у меня здесь нету, так что не могу ничего сказать. По-польски я читал газеты, политическую, социологическую литературу.

— *Для отечественной социологии польская социология какое имела значение?*

— Огромное. Потому что у нас не было западной социологии. Начиная где-нибудь с 60-х можно было где-то достать, купить польскую литературу. Я читал Яна Щепанского и других. Историю социологии, кроме польских источников, брать было больше неоткуда, историю западной социологии мы узнавали по-польски. Потом уже можно было добраться как-то до источника. И для всего моего поколения социологов Польша была мостиком к западной социологии, воротами такими. Можно было через поляков узнать, что там делали, читая их литературу.

— То есть для российской социологии Польша имела такое значение, да? Вы сказали «мостик» и «ворота».

— Не только для российской, но и для всей советской социологии в целом, включая украинскую, белорусскую. Для того времени это было так. Так же, как радио «Свобода» было удобнее слушать по-польски [точнее — «Свободную Европу»].

— Меньше глушили?

— Польское вообще не глушили. Русское глушили, польское не догадывались. Я слушал по-польски.

— Скажите, ваше знание языка домашнее как-то сохранилось в 1956-м и позже?

— Нет. Он у меня был, в общем, пассивный. Говорить я не решался, а слушал и понимал. Приезжал к полякам, предлагал им говорить по-польски, я — по-русски. Мы понимали друг друга.

— А с польскими социологами напрямую как-нибудь общались?

— Общались. Они приезжали сюда. Из ИФИСа (Институт философии и социологии ПАН) регулярно. Были налажены постоянные контакты.

— Когда вы первый раз услышали о Катыни? И чем для вас была эта информация? Что она изменила?

— Тогда, когда в мире стали об этом говорить. Не помню, когда я услышал или прочитал материалы о том, что это было на самом деле, — намного позже. Я знал, что это было, что это внешняя сторона. Это был скандал с правительством в Лондоне, с армией Андерса и так далее, разрыв отношений был в 1943 г., после этих событий. Но когда я это счел важным обследовать, этого не могу сказать. Когда-то в диссидентские времена ходили бумаги, связанные с этим, — записка Берии от 5 марта 1940 года^[1], если я правильно помню, известная резолюция со словами: «поскольку они не перевоспитываются, надо их обработать по первой категории». Или что-то в этом роде, такие слова там употребляли.

— О развитии катынского сюжета сегодня, так называемого «катынского синдрома», все говорят в Польше, но он не имеет никакого резонанса у нас. Как вы думаете, в чем проблема? Чем является для России сегодня Катынь?

— Для большинства россиян это просто забытая вещь или непонятно что. Или, в крайнем случае, один из эпизодов того времени, о котором плохо вспоминать сейчас не любят. Начинают говорить: страдали и те и другие. А такая наша знаменитость, как Александр Исаевич, еще и говорит: «Ну, а что делали поляки в XVII веке?»^[2] Знаете, это рассуждение обозначает рамки человеческие. Очень огорчительные, но реальные.

— Можно ли как-то изменить что-нибудь в общественном мнении в этом вопросе сегодня? И как?

— Вы знаете, тут не только Катынь. Беда состоит в том, что все отношение к сталинскому периоду у нас испорчено. Насмерть и с самого начала. Оно строилось в форме строго дозированных разоблачений с хрущевских времен, с XX съезда и раньше даже. И, сказавши полслова, тут же крикнули, стуча кулаком по столу: «А больше ни-ни! Молчать!» И так было много раз. Получилось так, что катарсического преодоления этого явления не произошло. Произошло некоторое вытеснение в область мертвой памяти, которое не стимулирует интереса, поддерживает забывание и делает возможным сегодняшнюю скрытую реабилитацию, которая происходит и на официальном уровне. И, к моему сожалению, на массовом уровне тоже. Я думаю, что в Польше это вряд ли происходит и вряд ли там такое возможно. И не только в Польше, но и в Венгрии и даже в странах, менее тяжело переживших события, не восставших странах, в Болгарии например. А у нас — нет. И это одно из наших проклятий. Сейчас создать массовый интерес, пережить что-то вроде национального покаяния невозможно — поезд давно ушел.

— А что делать?

— Ну, что делать? Не моя задача выписывать рецепты. В лучшем случае, я стараюсь ставить диагноз. Приходит новое поколение, у которого, предположим, есть некоторый академический интерес к прошлому. И не только к Катыни. Но и к 1937 году и ко всему прочему. У них такой же интерес к этому, как к битве при *** (нрзб) или, в крайнем случае, к 9 января. И еще к чему-то, что учат в учебниках, но никого это не берет за душу. Ну, был и был — был, да и сплыл. Поэтому точку отсчета надо создавать в чем-то современном. Это очень трудно.

— Тем не менее политики очень удачно используют эту карту. Успешно ее разыгрывают.

— Естественно, так это же им на блюдечке преподносят. И даже того уровня разума, который есть у названной вами профессии, хватает для того, чтобы взять то, что преподносят и использовать. Увы, так.

— *А почему, как вы думаете, сначала Катынь, потом 4 ноября, или это одновременно, но все сюжеты завязаны на Польшу? Почему стремление хоть чем-нибудь «уесть» поляков так востребуется?*

— 4 ноября — это «бздур» [глупость, чепуха], по-польски выражаясь, чистая «бздур». Исторически неверная, лишенная всякой основы. Одно из неплохих обличений я читал на «Полит.ру». Что на самом деле происходило в Смутное время? При чем там были поляки? История с тогдашней войной-невойной с поляками не связана, о чем я слышал и раньше — я сам в этом не разбирался. И, вообще говоря, это не имеет принципиального значения. Те, кто захватил Кремль, от чего его пытались долго и не всегда успешно освобождать, были в основном из Великого княжества, те, которых называли литвинами. Они к современной Литве отношения не имеют. По этничности это были те, кого со времен Екатерины II называют белорусами. Она велела их переименовать официально, потому что ей так нравилось. Или ее советникам так захотелось. А поляки — вот я ссылаюсь на тот материал, который прочитал, я не берусь его проверять, я этим не занимаюсь, — были на четвертом месте в числе участников. Там были белорусы, немцы, французы. На четвертом месте какая-то группа была из поляков. История это достаточно темная, связанная с тем, что при отсутствии реальной централизованной власти большая часть бояр звала этих людей. Конкретно — звали Сигизмунда на царство. Как, впрочем, лет на тридцать раньше Ивана звали на королевство в Варшаву. Говорят, не захотел. Хорошо, что не захотел. Наверное, натворил бы чего-нибудь там. И из этого сделать какую-то псевдогероическую легенду?.. Но сделали же из Ивана Сусанина героя, высосав из пальца. Это была примитивная легитимация российского монархизма, которая тогда понадобилась. 4 ноября в основном интересно от полного безрыбья. Мы проводили опрос: какой праздник может быть исходным для современной России? Как мы и ожидали, получили только один ответ — 9 мая 1945 года. Единственная историческая точка, которую люди помнят и ценят. Все остальное, в том числе вот этот день, никто не знает, не переживает. Я думаю, 4 ноября долго не проживет...

Вы знаете, у нас сейчас отношение к Польше неплохое, это мы проверяли. Был момент, года полтора назад, когда были эти омерзительные истории с избиениями людей, как вы знаете.

Совсем не случайно это происходило в Москве и в Варшаве. Это было кем-то организовано, по-видимому, — вряд ли это само собою могло возникнуть. Но на наших людях это не отразилось... Власти не любят тех, кто не хочет им подчиняться. Но это с Польшей произошло давно. Сегодня это уже просто свершившийся факт, «fait accompli» по-французски. Сейчас основная злоба, как вы знаете, на Украину. А еще больше — на Грузию. Враг номер один в мире у России — Грузия, которая грозит маленькую бедную Россию захватить, расчленить и с Эстонией поделить. Так строится картинка. И если не совсем, то отчасти люди тоже это понимают. Это признак состояния наших правителей, не народа.

Вела беседу Татьяна Косинова.

1. Явная ошибка памяти: записка Берии с резолюцией Политбюро стала известна только в начале 90-х, когда был раскрыт пресловутый пакет №1. До тех пор все исследователи (работы или фрагменты которых действительно ходили в самиздате; были также тамиздатские издания, такие как «Катынь» Юзефа Мацкевича) полагали, что письменные следы этого решения вряд ли найдутся. — Ред.
2. Существенная неточность: о том, что «что делали поляки в XVII веке», Солженицын говорит не сегодня — он написал об этом в 1974 г., предварительно исчислив все российские и советские вины перед Польшей, включая Катынь. — Ред.

ПОЛЬСКИМ ПОЛИТОЛОГАМ, СОЦИОЛОГАМ, ИСТОРИКАМ НЕ НАДО БЫЛО ОБЪЯСНЯТЬ, КТО ТАКОЙ ЮРИЙ ЛЕВАДА

Смерть известного русского социолога Юрия Левады, руководителя аналитического центра в Москве, не осталась незамеченной и в Польше. О нем написали центральные польские газеты, о нем вспоминали в Варшавском университете, многие преподаватели которого встречались с русским ученым и поддерживали с ним научные связи. Надо отметить, что Юрий Левада сотрудничал со многими польскими научно-исследовательскими организациями, охотно давал интервью польской прессе. В последнее время он активно сотрудничал с польским Институтом восточных исследований. Об этом сотрудничестве, а также о значении Юрия Левады для польских экспертов мы беседуем с директором института Зигмунтом Бердыховским.

— Наше сотрудничество с Юрием Левадой началось в 2000 году. Тогда Юрий Левада вместе с сотрудниками своего центра в Москве подготовил к Экономическому форуму в Кринице панель на тему, каково российское общество на пороге XXI века. Мы остались очень довольны этим сотрудничеством и решили поддерживать контакты с центром Юрия Левады и с ним лично в дальнейшем. Благодаря его рекомендациям и поддержке нам удавалось приглашать на форум в Кринице многих профессиональных экспертов не только из России, но из Франции, США и многих других стран. Юрий Левада поддерживал связи со многими учеными, очень активно включался в обсуждение актуальных для современности вопросов. Идей у него всегда было множество. Его интересовали темы, связанные не только с социологией, но и с историей, политикой. И мы убедились в том, что можно рассчитывать на его объективность.

— *Какова была роль Юрия Левады в обсуждении польско-российских отношений — к примеру, на Экономическом форуме в Кринице?*

— Во время Экономического форума он много раз затрагивал этот вопрос, обращая внимание на опросы, которые проводил его центр. Результаты этих опросов показывали совершенно

другое отношение рядовых российских граждан к польско-русским конфликтам в истории и к полякам, чем то, что мы находим в заявлениях политиков и власти. Рядовые граждане хотят нормального сотрудничества и нормальных отношений. При обсуждении особенно острых конфликтов в нашей совместной истории этот вывод был очень важен.

— Как бы вы оценили значение Юрия Левады для польских экспертов, которые занимаются темами, связанными с Восточной Европой и особенно с Россией? Был ли он достаточно известен в Польше?

— Я могу сказать от себя лично, а также от имени тех экспертов, с которыми я сотрудничаю в Польше. Это имя было на слуху у польских ученых — политологов, социологов, историков. Им не надо было объяснять, кто такой Юрий Левада. Его имя ассоциировалось с высоким уровнем социальных исследований, а также с объективностью и профессиональной честностью. Дискуссии и дебаты, которые были организованы по его инициативе или с его участием, как правило, всегда отличались конструктивным подходом, культурой, свободой и смелостью выступлений участников. Я думаю, можно утверждать, что имя Юрия Левады очень много значило для большинства тех людей в Польше, которые занимаются темой России профессионально или просто этой темой интересуются.

— Как уход Юрия Левады, на ваш взгляд, может повлиять на российское общество?

— Смерть этого человека говорит о том, что из политической жизни России уходит то поколение, которое много сделало для реформ и перемен в этой стране. К сожалению, надо сказать, что остается все меньше таких людей, как Юрий Левада, которые в своей работе и жизни воплощают определенные ценности.

— Каким он вам запомнился как человек?

— Он отличался прекрасным настроением, внутренним спокойствием, естественностью в общении. Во время нашей самой первой встречи нам предстояло обсудить многие острые вопросы, но между нами очень быстро возникло понимание и желание сотрудничать. Нашему институту будет его очень не хватать.

Вела беседу Виктория Дунаева

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• Ян Кшиштоф Белецкий, председатель банка ПКО, бывший премьер-министр: «Мы совершили чудо. Нет на свете человека, который, глядя на Польшу 1989 года — полного банкротства, — мог бы себе представить, что на протяжении одного поколения мы будем страной, имеющей вес в Европе. Видно, что наше отставание от богатых государств ЕС уменьшается. Простая математика показывает, что развиваться в темпе 3% ВВП в год нам нетрудно. Если дополнительные 2% — заслуга средств Евросоюза и прибавим еще переоценку злотого, которая представляет собой процесс необратимый, то мы быстро приближаемся к росту в 8–9% в год». («Дзенник», 29 ноября)

• ВВП в 3-м квартале вырос на 5,8%. По мнению замминистра финансов Петра Сорочинского, это результат огромного роста затрат на капиталовложения и ускоренного развития сферы услуг. С января мы сделали инвестиций почти на 15% больше, чем годом раньше. («Жечпосполита», 1 дек.)

• «Лешек Бальцерович получил вчера премию ACCA [Association of Chartered Certified Accountants], объединения видных финансистов всего мира. (...) В ACCA состоит 370 тыс. членов. Она была создана в Лондоне в 1904 г., чтобы пропагандировать этику, нравственные стандарты и профессионализм в кругах финансистов и лиц, занимающихся финансовым менеджментом». («Газета wyborcza», 9–10 дек.)

• «Существующий 15 лет Веймарский треугольник сегодня стал своего рода дискуссионным клубом, где обсуждается также будущее ЕС, хотя партнеры смотрят на него с разных точек зрения. Ширак хочет втянуть Евросоюз в большую политику и „гашение пожаров” на Ближнем Востоке. Качинский — чтобы ЕС направлял сигналы странам СНГ. (...) Президент Франции вместе с Ангелой Меркель склоняется к замыслу Европейской комиссии временно приостановить переговоры с Анкарой. (...) Лех Качинский мыслит несколько иначе. „Мы, — сказал он, — за продолжение переговоров. Это трудный процесс, который может продолжаться годами”». По мнению бывшего министра иностранных дел Польши Адама Даниэля Ротфельда, «Веймарский треугольник — уникальный инструмент. Ни одна страна нашего региона не участвует в подобном форуме, где к

ней относятся как к привилегированному партнеру двух крупнейших континентальных держав ЕС. Треугольник стал не только символом преодоления разделений, но и форумом консультации важнейших для Польши, Франции и Германии вопросов. (...) Треугольник не предназначен для решения конкретных проблем. Он служит обсуждению проблем стратегических. Такой стратегический вопрос — отношения Евросоюза с Россией, которая ведет особую политику по отношению к каждой стране — члену ЕС». («Газета выборча», 6 дек.)

- «88% поляков, опрошенных ЦИОМом, довольны членством нашей страны в ЕС — это самый высокий в истории уровень польского евроэнтузиазма». («Тыгодник повсехный», 3 дек.)

- «Вчера Польша не допустила принятия странами ЕС общей позиции по переговорам о новом соглашении с Россией. (...) Варшава не хочет ее одобрить, требуя, чтобы сначала были отменены ограничения, наложенные Россией на импорт польской сельскохозяйственной продукции, и чтобы Москва подписала Европейскую энергетическую хартию». («Дзенник», 14 ноября)

- Премьер-министр Ярослав Качинский: «Россия связана действующим договором с Евросоюзом и поэтому не имеет права без чрезвычайных причин ограничивать наш экспорт». («Жечпосполита», 17 ноября)

- «„Позиции Литвы и Польши совпадают“, — сказал (...) литовский премьер-министр Гедиминас Киркилас, напоминая, что у его страны с Россией те же проблемы, что и у Польши. (...) Франция, как сказано в (...) заявлении французского МИДа, понимает обеспокоенность Польши в связи с российским эмбарго на польское продовольствие и поддерживает усилия Европейской комиссии, направленные на то, чтобы в сотрудничестве с Россией найти решение торгового спора. (...) Российские ветеринарные службы обещали, что готовы к переговорам об отмене эмбарго. За день до этого в России Польшу называли „очагом контрабанды“». («Дзенник», 17 ноября)

- «Вчера скончался лучший российский социолог профессор Юрий Левада. Его будет нехватать. (...) Он принадлежал к поколению советской интеллигенции, называемому „шестидесятниками“, тому, которое входило во взрослую жизнь на рубеже 50–60-х годов. Это было, пожалуй, лучшее поколение во всей истории России. Интересующееся миром, верящее в прогресс и полное надежды на демократические

перемены. И дружественное Польше. Теперь эти наши русские друзья — такие как Левада, Геннадий Жаворонков, искатель правды о Катыни, или раньше ушедший Булат Окуджава — один за другим бесповоротно покидают нас». («Газета выборча», 17 ноября)

- Посол России при ЕС Владимир Чижов: «Россия готова немедленно отменить эмбарго на импорт польского продовольствия, если будут решены все проблемы». («Жечпосполита», 18-19 ноября)

- «На „массовую подделку ветеринарных свидетельств“ ссылалась Москва, вводя эмбарго. (...) В Польшу переданы 24 документа, подвергнутые в России сомнению. Прокуратура установила, что они действительно подделаны, но явно не в Польше: ни один из транспортов, которых они касались, не шел из Польши и даже не проходил через нашу страну. Фальсификатор имел доступ к литовским и российским транспортным документам, а обнаруженные ошибки свидетельствуют, что родной его язык — русский. Документы возвращены в Россию, чтобы там искать преступника». («Дзенник», 18-19 ноября)

- Министр иностранных дел Сергей Лавров: «Элементарная проблема с ввозом в Россию польских мясных и некоторых растительных продуктов должна быть решена исключительно путем наведения порядка польской стороной — положить конец подделкам сертификатов и контрабанде продовольствия через ее территорию». («Дзенник», 20 ноября)

- «Президент России написал текст для „Дзенника“. Это первый случай в истории, когда Владимир Путин публикуется в польской печати. Кроме „Дзенника“ текст отдан еще в две крупных европейских газеты, в т.ч. в «Монд». (...) Прошлое не должно нас разделять — мы не можем изменить историю, сегодняшние задачи — совместное построение будущего России и Евросоюза как партнеров и союзников. Россия к этому готова», — пишет Путин». («Дзенник», 22 ноября)

- Профессор Ежи Помяновский, главный редактор «Новой Польши»: «Я считаю весьма позитивным тот факт, что Владимир Путин высказался о Польше на страницах „Дзенника“, притом с очевидной заинтересованностью. До сих пор Россия делала вид, что мы ничего не значащая страна. Однако, как видно, сам президент обратил внимание на факт нашего существования. (...) В последнем споре речь идет, однако, не о чем ином, как только о том, чтобы Путин признал

Польшу таким же членом сообщества, как и остальные страны Евросоюза». («Дзенник», 23 ноября)

• «Споры между Польшей и Россией были и будут. С того времени как Польша говорит своим, а не московским голосом, эти споры вызывают в Кремле, а тем самым и в СМИ пароксизмы злости и нападки, полные презрения. (...) Когда Россия защищает свои интересы, ее позиция сама по себе понятна и достойна всяческих похвал. Но о поляках, защищающих жизненные интересы своего государства, уполномоченный России при ЕС Сергей Ястржембский говорит: „Есть такие партнеры, которые свои национальные, узко понимаемые интересы пытаются поднять на европейский уровень”. Поднять откуда? Ну, разумеется, из грязи, в которую втаптываются эти наши „узко понимаемые” интересы. (...) Но кроме Кремля есть еще рядовые русские, мнение которых важно нам, рядовым полякам, потому что у нас больше общего, чем разделяющего. Эти рядовые русские могли в последнее время увидеть во всех телевизионных новостях съемки с мясоперерабатывающего комбината в Стараховицах. От гор беспорядочно брошенных туш сине-голубого цвета даже на экране шла вонь. Комментатор объяснял, что на этом комбинате порченное мясо перерабатывали в колбасные изделия и отправляли в супермаркеты. Правда? Правда! Мы сами виноваты. Только трудно бегать по улицам Москвы и заверять потенциальных покупателей польских сосисок, что такое случилось один раз на одном комбинате. (...) Что поделаешь, не совпадают геополитические и энергетические интересы России и Польши. Не до конца решены проблемы прошлого. Но остаются еще люди...» (Кристина Курчаб-Редлих, «Жечпосполита», 24 ноября)

• Премьер-министр Ярослав Качинский: «Мы не можем согласиться, чтобы переговоры о новом договоре Евросоюза с Россией начались, когда Россия откровенно не соблюдает прежнего. Если бы дошло до переговоров о новом договоре, это был бы ясный сигнал: Польша и ЕС соглашаются на то, что Польши этот договор не касается. (...) Если Россия получила бы сигнал, что Польша в отношениях с Россией в принципе соглашается на статус государства, не входящего в ЕС, тогда вся палитра средств давления на нас стала бы допустимой. Только крайней наивные люди могли бы предполагать, что Россия таким случаем не воспользуется. (...) Четверть века назад мы думали: „Войдут — не войдут?” [советские войска, чтобы подавить движение «Солидарности»], а теперь нам пришлось бы думать: „Закрутят — не закрутят?” [газовый кран]. Россия должна признать, что Польша — независимая страна, прочно

остающаяся вне зоны российского влияния, что она принимает участие в политике в нашем регионе и может вести с Россией переговоры на партнерских условиях». («Дзенник», 26–26 ноября)

• «Польское вето заблокировало планировавшееся начало переговоров по новому договору о сотрудничестве Евросоюза с Россией (...), „Польский ультиматум предъявлен не России, а Евросоюзу”, — сказал посол России при ЕС Владимир Чижов (...) „Мы имеем дело с внутренней проблемой Евросоюза. Только и исключительно”, — заявил (...) Сергей Ястржембский, российский представитель по отношениям с ЕС (...) „Мы ничего не имеем против польских производителей. Мясо, которое не отвечало санитарным требованиям, было не из Польши. Польские производители хорошо знают свое ремесло, это нам известно уже много лет”, — сказал в Хельсинки президент Владимир Путин. (...) Хосе Мануэль Барросо, председатель Европейской комиссии: „Польша может рассчитывать на нашу поддержку, а проблему мяса надо решить в трехсторонних переговорах России, Польши и Европейской комиссии”. (...) „Перспективы очень хорошие, — подвел итоги президент Путин, — мы всегда сотрудничали с Польшей во многих областях и готовы делать это дальше”». (Юстина Прус, Анджей Талага, «Дзенник», 25–26 ноября, корреспонденция из Хельсинки)

• «Любопытно, что во всех выступлениях больше всего говорилось об отмене эмбарго на импорт мяса. Вопрос ратификации Энергетической хартии Москвой изо дня в день отходил на все более дальний план. А может быть, с самого начала это требование выдвигалось всего лишь как на торгах. (...) Выполнение польского условия, т.е. ратификация Энергетической хартии, на практике означало бы согласие России не только допустить иностранные фирмы на ее энергетический рынок, но и открыть доступ к российским трубопроводам, без чего импорт нефти и газа из Туркмении или Казахстана практически невозможен. А это подрывало бы всю политическую стратегию России, направленную на восстановление ее позиции как великой державы — теперь энергетической». (Славомир Поповский, «Ньюсуик-Польша», 26 ноября)

• «За российский газ Польша заплатит на 10% больше, чем до сих пор. (...) Самая крупная польская газовая фирма согласилась на повышение цены газа, который она покупает у российского „Газпрома”, потому что в противном случае зимой газа нехватило бы. Россия поставляет половину используемого в

Польше сырья (...) На протяжении года его цена возросла почти на четверть». («Жечпосполита», 20 ноября)

- «За тысячу кубометров концерн „Польская нефте- и газодобывающая промышленность” заплатит 340–350 долл., в то время как немецкий концерн VMG будет получать газ по цене 300 долларов». («Тыгодник повсехный», 4 дек.)

- Юлия Тимошенко: «С премьер-министром [Ярославом] Качинским мы говорили о нефтепроводе Одесса—Броды—Гданьск. Этот проект, хотя его осуществление затянулось, постепенно движется вперед. Мы говорили также о газопроводе, который позволил бы транспортировку газа из Туркмении и Казахстана на Запад через Украину. (...) По-моему, на Украине все понимают, что Польша и Украина — не только друзья, но и партнеры на долгое время (...) Мы хотим вернуть Украину на западный курс и в этом рассчитываем на помощь Польши. Пока Польша будет нашим гидом в Евросоюзе, мы можем спать спокойно. (...) Польша сумела пригрозить своим вето в вопросе начала переговоров с Россией — и, на мой взгляд, успешно, — а это значит, что Варшава держит в руках реальные инструменты действия. (...) Польша показала, что она в ЕС имеет значение». («Дзенник», 17 ноября)

- «В Варшаве правит премьер-министр, любящий подчеркивать свой антикоммунизм. В Киеве премьер — классический выкормыш коммунистов. Тем не менее польско-украинские отношения не подверглись охлаждению. Наоборот, переломной стала встреча Качинского с Януковичем в Кринице. Вчерашние переговоры в Киеве закончились конкретными решениями. Польское правительство сделает капиталовложения в трубопровод Одесса—Броды, чтобы после нескольких лет застоя [в строительстве] довести его до наших границ». (Цезарий Михальский, «Дзенник», 16 ноября)

- «Рышард Краузе, один из самых богатых поляков, стал совладельцем четырех месторождений нефти в Казахстане (...) по его словам, его компания „Петрольинвест” кроме того купила три месторождения поменьше на территории России, в Республике Коми. Казахстанские месторождения оцениваются по меньшей мере в 22 млн. баррелей». («Дзенник», 2–3 дек.)

- «По случаю визита польского премьер-министра в пятницу в Вильнюс председатели правлений „Польских электроэнергетических сетей” и „Литовской энергии” подписали соглашение о сотрудничестве и строительстве новой высоковольтной линии, которая соединит обе страны. Литовская сторона предполагает, что строительство

энергетического „моста” начнется в 2007 г. и будет закончено в 2011-м. (...) Проект имеет особое значение для Литвы, но также для Латвии и Эстонии. (...) Не соединив свою энергетическую систему с польской, Литва и соседние страны были бы отданы на милость экспортерам энергии из России». («Жечпосполита», 9-10 дек.)

- «Минск объявил об установке батареи современных противовоздушных ракет С-300 почти в то же время, как в Польшу прибыли первые самолеты Ф-16. Радиус действия ракет С-300 охватывает треть территории Польши с Варшавой. (...) Два дивизиона С-300 уже несут боевое дежурство в окрестностях Бреста. Еще два будут размещены под Гродно». («Газета wyborcza», 24-25 ноября)

- «Ученые из Музея Варшавского восстания обнаружили обломки сбитого бомбардировщика „Галифакс”, который перевозил помощь повстанцам. (...), „Галифакс-II” №JP-276A стартовал 4 августа 1944 г. с аэродрома в Италии (...) Он был сбит ночью (...) над Домбровой-Тарновской в Малопольше. По прошествии 60 с лишним лет удалось раскопать обломки фюзеляжа и двигатели бомбардировщика. Выкопаны также личное оружие, парашют, позолоченный значок канадских ВВС (...) найдены останки погибших членов команды. (...) В прошлом году сотрудники Музея Варшавского восстания обнаружили в окрестностях Бохни обломки американского бомбардировщика „Либереитор” №B-24 J (...) Он летал со снабжением для повстанцев из Италии в Варшаву и был сбит в ночь с 14 на 15 августа 1944-го. (...) Пилотом самолета был тогда капитан Збигнев Шостак, один из самых знаменитых польских летчиков, награжденный крестом „Virtuti militari”. Вся команда погибла. (...) В мае этого года макет „Либереитора”, включающий подлинные обломки самолета, был установлен в самом большом зале музея». («Жечпосполита», 30 ноября)

- «Председатель не признаваемого белорусскими властями Союза поляков Анджелика Борис лишена заграничного паспорта. (...) Она должна была ехать в Страсбург вместе с Александром Милинкевичем, который получал там Сахаровскую премию». («Газета wyborcza», 7 дек.)

- Авторы доклада Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) «отметили, что польские СМИ во время войны в Ливане сохраняли исключительный нейтралитет. Разумеется, отмечены антисемитские высказывания в „Нашем дзеннике” и радио „Мария”, но эксперты ЕЕК подчеркивают, что неприязнь к евреям не выплескивается на улицу». («Жечпосполита», 21 ноября)

• Профессор Шевах Вейс, бывший посол Израиля в Польше: «Недавний доклад Европейского еврейского конгресса (...) не был неожиданностью ни для кого, кто внимательно наблюдает за успехами в польско-еврейских отношениях и за тем, как видят Израиль жители Старого Света. Я давно чувствовал, что между евреями и поляками происходит нечто исключительное (...) Труд, который обе стороны за последние годы вложили в примирение, не мог не принести результатов. Диалог между иудаизмом и католичеством, встречи молодых евреев с их польскими ровесниками, „Марши живых“, реставрация синагог, кладбищ и множество других ценных начинаний. Я не сомневаюсь, что отношения между поляками и евреями становятся всё лучше. (...) В то время как в Польше синагоги восстанавливаются, во Франции они горят». («Жечпосполита», 30 ноября)

• Профессор Марек Сафьян, бывший судья и председатель Конституционного суда: «На углу Аллей Уяздовских и аллеи Шука [в Варшаве] вырос памятник [Роману] Дмовскому. На протяжении 70 лет его программа определяла мышление части польского общества, оправдывая маниакальную нетерпимость некоторых кругов». («Ньюсуик-Польша», 10 дек.)

• «Бывший посол Израиля в Польше Шевах Вейс получил в среду докторскую степень *honoris causa* Вроцлавского университета». («Дзенник», 23 ноября)

• «Видные политики и несколько тысяч слушателей радио „Мария“ приехали вчера в Торунь на 15-летие радиостанции. (...) „Радио „Мария“ сыграло важную роль в истории Польши и Церкви, понимаемой как верные”, — сказал присутствовавший на празднестве премьер Ярослав Качинский. Он прибавил, что в Польше не удались бы политические перемены [2005-го, года последних парламентских и президентских выборов], если бы не радио „Мария”». («Жечпосполита», 8 дек.)

• «„Работа за секс в «Самообороне»» — под таким заголовком „Газета wyborcza” обнародовала рассказ Анеты Кравчик, которая, по ее словам, в обмен на „сексуальные услуги”, оказанные Анджею Лепперу и Станиславу Лыжвинскому, получила работу в депутатском бюро Лыжвинского и место в совете Лодзинского воеводского сеймика [законодательного собрания]. (...) „Я не вижу возможности сотрудничества с лицами, допустившими такие поступки”, — сказал Ярослав Качинский, заявив, однако, что воздержится от выводов до того, как прокуратура закончит следствие». («Тыгодник повшехный», 17 декабря)

- По опросу ЦИОМа, «53% поляков считают, что наш род возник в результате длительной эволюции. (...) 30% убеждены, что человек был сотворен сразу в своем нынешнем виде». («Жечпосполита», 21 ноября)

- «Негосударственное образование действует в Польше 17 лет. (...) На протяжении этих лет „негосударственники” создали 280 начальных школ (2,5% от общего числа), 473 гимназии (8%) и целых 20% от общего числа лицеев в Польше. Однако это школы маленькие, в них ходят едва 2% от общего числа польских школьников. (...) Всё чаще родители (...) выбирают школы, которые выдвигают на первый план определенные ценности и дисциплину». (Ивона Доминик, «Ньюсуик-Польша», 3 дек.)

- «Как следует из опроса, проведенного по поручению компании „Миллуорд Браун” объединениями „Клён/Явор” и „Центр волонтерства” в ноябре на тысяче респондентов, 6,6 млн. человек в Польше (свыше одной пятой взрослых поляков) трудятся волонтерами. Это число волонтеров, правда, в два раза больше, чем еще пять лет назад, но в сравнении с прошлым годом оно впервые снизилось (с 23,2 до 21,9%). Явно уменьшилось и время, которое люди предназначают на общественную работу: только каждый десятый — в два раза меньше, чем в прошлом году, — отвел на волонтерство больше 19 дней в год. В европейской статистике среди 17 прошедших опросы стран польские волонтеры занимают 13-е место». («Жечпосполита», 4 дек.)

- «Социологи наблюдают новый обычай: дети крестьян теперь не мечтают стать горожанами и любой ценой вырваться из деревни. Они учатся, получают дипломы и возвращаются в родные края. Берут на себя семейные хозяйства, веря, что благодаря этому будут жить в достатке. Откуда такая перемена? По причине щедрых дотаций Евросоюза». («Дзенник», 20 ноября)

- «Вчера утром спасатели извлекли на поверхность тело последней из 23 жертв катастрофы в шахте „Халемба”. Начато опознание погибших. (...) Некоторые тела так покалечены, что узнать невозможно. Личности их можно будет установить только после специальных анализов ДНК. (...) Сначала взорвался метан, что вызвало взрыв угольной пыли. (...) Второй взрыв был куда более мощным, и, вероятно, именно от него погибло большинство работавших внизу шахтеров». («Дзенник», 25-26 ноября)

- «Темп реформ в Польше — либерализация экономики и приватизация — замедлился после вступления в Евросоюз.

После победы „Права и справедливости” осенью 2005 г. реформы застряли на месте, считает Европейский банк восстановления и развития». («Газета wyborча», 15 ноября)

- «В этом году наша задолженность растет внушительными темпами: за весь 2005 год долг сектора государственных финансов (...) вырос на 35,4 млрд. злотых, а за первое полугодие [2006-го] мы задолжали уже 34,2 миллиарда!» («Газета wyborча», 22 ноября)

- «По оценке Европейской комиссии, польское правительство не предприняло достаточных шагов по сокращению бюджетного дефицита. Европейская комиссия запустила очередной этап исправительной процедуры, к счастью не предусматривающий финансовых наказаний». («Газета wyborча», 15 ноября)

- «Министерство финансов сообщило, что нас ждет рост инфляции. (...) Ноябрьский рост цен на потребительские товары составил 1,5% с начала года. (...) По прогнозам, в марте 2007 г. инфляция достигнет 2,5%». («Дзенник», 2-3 дек.)

- «Еще одно польское вето в Евросоюзе: на этот раз Варшава не дала ходу реформе уголовных предписаний ЕС в связи с предписанием, позволяющим перевод заключенных на родину из страны, где они осуждены. В настоящее время в тюрьмах государств — членов Евросоюза сидит около 1,8 тыс. поляков, а в переполненных польских пенитенциарных заведениях — несколько десятков граждан других государств». («Тыгодник повшехный», 17 дек.)

- «Принятый парламентом и подписанный президентом закон „Об оглашении информации о документах органов госбезопасности”, который обычно называют новым законом о люстрации, вводит возможность наказания тремя годами тюрьмы всякого, кто „публично обвиняет польскую нацию в участии, организации либо ответственности в коммунистических или нацистских преступлениях”. (...) Станут ли преступными высказывания типа „В 1956 г. в Познани поляки стреляли в поляков”? — спрашивает Дариуш Столя из Института политических исследований Польской Академии наук. Он заметил, что кандидатом на тюремные нары окажется не только Ян Т. Гросс за работу о Едвабном, но и „все историки, затрагивающие вопрос предательства и пишущие об агентах гестапо, доносчиках, об участии польских полицейских в репрессивных операциях или о еврейских полицейских, помогавших в депортации населения гетто”, — все они были гражданами Второй Речи Посполитой и в

правовом смысле „членами польской нации”». (Кшиштоф Бурнетко, «Политика», 25 ноября)

• Профессор Михал Гловинский, член Польской Академии знаний: «Речь правящей команды начала поразительно напоминать официальный образ речи, обязывавший в странах т.н. социалистического лагеря. (...) Группировка, которая из антикоммунизма сделала себе идейный фундамент, а из декоммунизации — один из главных лозунгов, оперирует языком, который не только напоминает практику, действовавшую при коммунистической власти, но иногда бывает ее поразительным повторением. (...) В основу того языка, которым пользуется сегодняшняя правящая команда, положены три главных элемента. Первый — последовательно дихотомическая картина мира, не допускающая никаких оттенков и сложностей. (...) С дихотомическим разделением непосредственно связан следующий фактор: определителем этого типа речи служит идея врага. А врагом становится или, по крайней мере, может стать каждый, кто стоит по другую сторону. (...) С дихотомическими разделениями и демонстративной идеей врага тесно связан и третий фактор — представление о мире как поприще заговоров. (...) Мы имеем дело с серьезным понижением стандартов публичной речи, и только одно наполняет оптимизмом: к счастью, она по-прежнему не стала исключительной собственностью одной лишь политической группировки». («Газета wyborcza», 25-26 ноября)

• Профессор Анджей Зыбертович: Как исследователь я пытаюсь реконструировать механизм „групп интереса против развития” (ГИПР) — скрытых группировок, паразитирующих на публичных средствах и парализующих явные субъекты власти. (...) Например, при больших компаниях, принадлежащих государственной казне, имеются отделы безопасности. И много людей из спецслужб. Если бы там компетентно и честно проводили аудиты, многих это отрезало бы от весьма выгодных, хотя мало рискованных сделок. (...) Есть много групп, проектирующих сложные манипуляционные игры в бизнесе. (...) Я давно уже занимаюсь подобными участками общественной жизни. Знаю аналитические работы, посвященные эффективности насилия и угроз как инструментов в социальных играх. (...) Думаю, что „Право и справедливость” хотело бы построить Польшу, которая была бы правовым государством, в которой соблюдались бы определенные стандарты социальной справедливости и которая в то же время была бы не только объектом, но и субъектом в европейской игре. Цели, следовательно,

достойные. Теперь следует рассматривать, какие средства ПИС готово использовать, чтобы достичь этих целей. (...) О научно-технической цивилизации говорят, что империя средств затмила царство целей». («Политика», 18 ноября)

• Рейтинг партий по опросу ГфК «Полония»: «Гражданская платформа» (ГП) — 30% (185 мест в Сейме), «Право и справедливость» — 23% (143), «Левые и демократы» — 8% (48), крестьянская партия ПСЛ — 7% (41), «Самооборона» — 7% (41), «Лига польских семей» — 3% (избирательный порог — 5%). («Жечпосполита», 13 дек.)

• «Результаты второго тура муниципальных выборов: президентом [мэром] Варшавы стала Ханна Гронткевич-Вальц (ГП) (...) президентом Кракова — Яцек Майхровский (до недавнего времени связанный с «Союзом демократических левых сил», теперь беспартийный) (...) Щецина — Петр Кшистек (ГП). Явка на выборы составила около 39%. Из общих результатов голосования по стране следует, что почти 82% местных органов самоуправления досталось кандидатам [не партий, а] местных избирательных комитетов». («Тыгодник повшехный», 10 дек.)

• «Президент Лех Качинский откликнулся вчера на призыв „Газеты wyborчей“ защитить уникальную долину реки Роспуды, которую, по проекту, перережет объездная дорога вокруг Августова. Под призывом подписалось уже 150 тыс. человек. Вот слова президента [в отрывках]: «Принятие решения о строительстве Августовской объездной дороги и о ее трассе (в рамках строительства скоростной автострады Via Baltica) лежит в компетенции правительственных и местных органов, и я как президент уважаю их право. Однако если где-то допущена какая-то ошибка (...) то лучше подумать еще раз. (...) Наши сегодняшние решения (...) не могут наносить ущерб ни людям, ни окружающему нас миру. Пусть строящаяся дорога соединяет, а не разделяет. Та, о которой я говорю (...) представляет собой важный отрезок объединенной Европы, в которой, как мне хотелось бы, пусть находится и такая жемчужина природы, как польская долина Роспуды». («Газета wyborча», 9-10 дек.)

• «Европейская комиссия официально завела дело против Польши. Она хочет, чтобы работа по планированию Августовской объездной дороги была остановлена, и требует объяснений от польского правительства. Почему? По мнению ЕК, проект (как и несколько других участков проектируемой Via Baltica) совершенно противоречит принятым в Евросоюзе принципам охраны природы». («Газета wyborча», 13 дек.)

• «Британское Королевское общество охраны птиц впервые делает капиталовложения за границей. За 400 тыс. фунтов оно закупит около тысячи гектаров заливного урочища Бебжи в Польше. Сделает оно это для охраны одной из самых редких европейских певчих птиц — камышевки вертлявой [*Acrocephalus paludicola* (Veill.)]. Число ее особей в мире оценивается едва-едва в 20 тысяч. 80% европейской популяции камышевки живут в Польше». («Жечпосполита», 30 ноября)

• «Я испытываю стыд, думая об этом сообщении. Мне стыдно, потому что т.н. достояние моей страны берут под охрану иностранцы. Они уже знают, что выпрямление русла рек и интенсификация сельского хозяйства природе добра не приносят. Милые англичане! Не можете ли вы выкупить у гуралей леса в Татрах? А может, и Беловежскую пушу, где не щадя вырубают старые деревья? А опушки Отцовского национального парка, где один за другим вырастают дома? Не можете ли вы защитить от разрушения пейзажи Сувальщины, Мазуры, Горцы, Бецады? Все местности, где во имя развития идет уничтожение природы?» (Михал Ольшевский, «Тыгодник повшехный», 10 дек.)

• «„Животное как живое существо способно испытывать страдания — оно не вещь. Человек обязан его уважать, охранять и опекать”, — гласит ст.1 закона об охране животных. Трудно найти большее издевательство над этим законом, чем предпраздничная продажа карпов [камп — традиционное блюдо на польском столе в Рождественский сочельник]. (...) В польских супермаркетах я не раз наблюдал, как довольные собой отцы поднимают детей, чтобы показать им мечущихся рыб, и просят их выбрать особь на съедение. У части детей это вызывает зримые страдания — не за себя, а те, которые психолог М.Л.Гофман называет „эмпатическим дистрессом”. У старших, начиная лет с десяти, к этому прибавляется чувство обиды и несправедливости, они принимаются задавать вопросы, ответы на которые обычно глубоко деморализующи. 12-летний мальчик, который пережил шок при виде мучений карпов в одном из варшавских супермаркетов, получил в конце концов откровенный ответ (...): „Может, это и жестоко, но такова в Польше традиция: перед Рождеством всем положено иметь в доме живого карпа”». (Анджей Эльжановский, «Политика», 2 дне.)

• «Поляки, эмигрировавшие в Великобританию и Ирландию, привозят туда своих животных. В этом году на Британские острова „эмигрировали” уже 721 польская собака и 146 кошек. (...) Владельцы привозят своих четвероногих друзей, так как и

они, и животные в разлуке тоскуют. (...) Поляки решаются на это, хотя процедура занимает много времени и стоит от тысячи до нескольких тысяч злотых — в зависимости от размеров животного и от средства транспорта. Выезжающее на Британские острова животное должно иметь вживленный чип и специальный паспорт. Ему надо сделать прививку от бешенства, а затем получить подтверждение из Государственного ветеринарного института в Пулавах, что вакцина подействовала. Перед самым выездом выдаются средства против червей и клещей. (...) Появилась даже фирма, специализирующаяся в перевозке животных вместе с владельцами, — „Интерцептор экспресс”, открытая в Лондоне поляком Мартином Хайне. (...) Польским собакам, кошкам и другим животным хорошо живется на новой родине. (...) Трудности бывают только со знанием языка». (Доминика Пщулковская, «Газета wyborча», 14 дек.)

СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК: МЕЩАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Чего бы он ни коснулся, всё превращалось в литературное золото. Книга стихов «На одном дыхании» стала первой «иконой» поэзии «Новой волны». Сборник эссе «Недоверчивые и самоуверенные» в 70-е годы открыл важнейшую критическую дискуссию о литературе. Его языковая виртуозность и в серьезном и в шутовском творчестве не имеет себе равных. Поэтические переводы, от Шекспира до Джона Леннона и от Мандельштама до Бродского, — особый канон высшего класса. Он писал о Херберте, Бялошевском и теории перевода, но и о худших книгах, и о ловушках социалистической массовой культуры. Баранчак — писатель-учреждение, одна из крупнейших фигур современной польской культуры. 13 ноября 2006 года ему исполнилось 60 лет.

Последний раз он был в Польше десять лет назад. Но остается в постоянном контакте с родиной благодаря газетам, друзьям, интернету. Когда в 1999 г. ему присудили «Нике» за книгу стихов «Хирургическая точность», премию от его имени получала жена Анна. Врачи уже запретили ему тогда летать самолетом, а от Массачусетса до Варшавы путь все же неблизкий. Вот уже примерно четверть века он страдает болезнью Паркинсона, недугом, который постепенно физически уничтожает организм (им страдал и папа Иоанн Павел II). Каждый случай болезни имеет индивидуальную историю, причины таинственного недомогания по сей день не ясны. Подозревают, что у Баранчака могла сыграть роль травма из далекого прошлого. В детстве он был на каникулах в деревне под Познанью; шурин хозяйки, в доме которой он жил, держал кузницу; и шестилетний мальчуган смотрел, как работает кузнец, — что могло быть для него более завораживающим?

*Я очнулся без паники; словно был согласен уткнуться
взглядом*

в эмаль ведра темно-синюю, на траве, совсем рядом,

с водой до краев, почему-то светло-красной; потом

*кто-то ловко, с журчанием выжимал тряпку или
фартук,*

*и кретоновая, мокрая, воскрешающая из мертвых
арктика*

начинала переговоры с моим правым виском,

а в нем что-то билось пульсом...

(Пер. А.Базилевского)

Стихотворение — в соответствии с датой события — называется «Июль 1952-го», оно опубликовано в книге «Открытка с видом из этого мира» (1988). Раскаленная стружка или капелька металла, брызнувшая из-под кузнечного молота, попала в висок, и несмотря на позднейшие хирургические вмешательства удалить ее оказалось невозможно: слишком близко был мозг. Никто, однако, не поручится, что именно это стало причиной начавшейся тридцать лет спустя болезни Паркинсона.

Коль скоро Баранчак с некоторых пор уже не может приезжать на родину, пришлось отправляться к Баранчаку.

Поэт вместе с женой Анной и дочерью, тоже Анной (которую зовут маленькой Аней, хотя она выше, чем Аня большая), занимает скромный домик в Ньютонвилле, районе Бостона, напоминающем дачное местечко над рекой, только без дачников. Он живет там с 1981 г., когда благодаря вспышке «Солидарности» с его имени было снято клеймо политической неблагонадежности и он сумел наконец получить паспорт, в котором ему три года отказывали. Все эти три года его ждала должность профессора польской литературы на кафедре славистики лучшего в мире университета — Гарвардского. Гарвард же — это, как известно, сердце Бостона.

Он проработал в этой должности почти двадцать лет, пока болезнь не приковала его к дому. Большая Аня работает на той же кафедре, преподает студентам польский язык и его каверзную грамматику. А кроме того занимается Станиславом. Домашней сиделкой она стала только с начала его болезни, но практически занимается мужем всю жизнь. И это не просто какая-нибудь готовка (на уровне лучшей мировой кухни — знаю, пробовал), и вообще устройство быта. Аня, Анна — попросту часть Станислава в той же мере, в какой Станислав — часть Анны. Они познакомились в 1964 г., он был на первом курсе филологического факультета в Познани, она на втором, поженились два года спустя и, в принципе, никто никогда с тех пор не видел их друг без друга. Может быть, за исключением студентов: перед дверями аудиторий они всё же ненадолго

расставались. Все поэтические книги Станислава имеют уже ставшее знаменитым посвящение — «Ане». Ну, почти все, потому что одна — «Я знаю, это несправедливо» (1977) — посвящена также матери и сыну. Посвящения Ане есть и в нескольких литературно-критических книгах.

Неизвестно, кто он более всего: поэт, переводчик, историк литературы, критик, эссеист? И еще тот, для кого нет точного названия: бравый автор литературных шуток, воплощенных в десятках жанров, в том числе изобретенных им самим. У англичан есть хорошее определение — *light verse*, шуточная поэзия, но ведь Баранчак втанцовывает свои безумные языковые фантазии не только в рифмованные пустяки.

Как почти все «поколение 68?го», он начинал с поэзии, дебютировал в 1965 г. стихами в барочно-экспрессионистской традиции (три годами позже из них сложится первый сборник — «Корректурa лица»). Кипучее, резкое содержание в железных объятах изысканной формы, тогда еще в основном сонета, на всю жизнь останется фирменным знаком лирики Баранчака и вообще его позицией в жизни и литературе. Не следует позволять, чтобы то, что бурлит в человеке, изливалось беспомощным и беспорядочным, хаотичным потоком — только холодное совершенство формы, условностей, правил и принципов может оправдать то, что мы навязываем кому-то свою точку зрения, узурпируя право противопоставить себя остальному миру.

Во всем своем творчестве Баранчак стремится к совершенству того, что древние римляне разумели под словом *ars*, искусность ремесла. Благодаря этому и те стихи, которые критики, не принимавшие поэтику Новой волны, презрительно оценивали как «публицистическую поэзию», поразительным образом выдержали проверку временем и сегодня по-прежнему трогают. Хотя бы жестким контрастом между невзрачностью жизни в Пээнэре и рафинированной формой, в которую поэт обрядил эту невзрачность. Таков был один из способов не поддаться маразму окружающей действительности.

*Дикта, фанера, картонка, плита из опилок,
я еще выпрямлюсь, и позвоночник в затылок
крепко упрется, и круглые четки хребтины
вспялятся впрямь, как убогие мебели спины
в их нагоде дощатой, фанерной, картонной;*

да, я еще воскресну, хоть и не знаю, который
я; перестану гнаться, хотя упрямая вера
не проживет в моем теле столько, сколько фанера...

(Пер. Н.Горбаневской)

Когда в 1970 г. вышел небольшой сборник «На одном дыхании», он немедленно стал самым отчетливым голосом нового поколения, вскоре окрещенного «поколением 68-го» или «Новой волной». Это была поэзия отказа, протеста, гнева. «Это лишь слово „нет“, пусть оно будет в крови, / капли которой стекают по скале на рассвете, / даю тебе это слово, как голову на отсечение», — писал он в стихотворении-манифесте «Нет».

Пожалуй, он сам был застигнут слегка врасплох и реальностью, и собой в этой реальности. Этот безупречно вежливый, коротко стриженный очкарик родом из самого что ни на есть мещанского города Познани, делавший абсолютно настоящую, соггест университетскую карьеру, — и на баррикаде? Как какой-нибудь политический скандалист, революционер?

Через много лет, когда социализм уйдет в голубую даль, а в тюрьмах и следственных изоляторах будут сидеть уже только настоящие уголовники, так как оппозиция станет полноправным элементом общественной жизни, он скажет, что всегда был эстетом и парнасцем, а к политической деятельности его вынудил просто случай — то, что он родился здесь, а не в какой-нибудь Швеции или Швейцарии.

Однако в политическую оппозицию он включился вполне естественно, словно такая потребность, прямо-таки необходимость была вне дискуссий. Не имея к тому никакой особенной предрасположенности, он принял на себя романтическую обязанность деяния, не задаваясь вопросом о последствиях; в неволе каждый должен стать солдатом освобождения. Такова была традиция польской интеллигенции; «будь верен, иди», как писал Херберт.

«Когда в мае 1977 года он пришел в варшавский костел св. Мартина, чтобы принять участие в голодовке протеста против ареста товарищей по КОРу и рабочих из Радома и с завода „Урсус“, в тщательно уложенной сумке (не хватало только бутербродов) у него была книга для перевода и кипа научных трудов для чтения, чтобы оптимальным образом использовать выпавшую из жизни неделю», — вспоминала в тридцатую годовщину КОРа (Комитета защиты рабочих) Иоанна Щенская,

еще одна интеллектуалка с польских баррикад.). Раньше, в 1975-м, он подписал знаменитое «письмо 59-ти» к властям по вопросу гражданских прав, поставленных под угрозу готовившимися изменениями в конституции.

А через год стал одним из членов-основателей КОРа. Как и все они, подрывал, подстрекал и поджигал. То есть на самом деле занимался тем, в чем просто-напросто разбирался: писал, редактировал, участвовал в создании подпольной печати, к примеру — первого независимого литературного журнала «Запис». Ему запретили печататься, выгнали из университета, публиковался он теперь только подпольно и за границей. Сборники «Утренняя газета», «Я знаю, это несправедливо», «Триптих из бетона, усталости и снега», «Искусственное дыхание» стали манифестами поколения и всей оппозиционной Польши.

Он никогда не позволял себе предъявлять миру претензии, что у него отнято столько хорошей жизни. В конце концов, мир отнял ее почти у всех. И не надо требовать никаких воздаяний, ходатайствовать о компенсациях, почестях или публичных восхвалениях. Достаточно того, что можно публиковаться без цензуры, свободно ездить за границу и ходить на свободные выборы. А как же то, что через какое-то время болезнь сделает для него невозможным чтение лекций, во многом помешает и писать, а затем и лишит возможности свободно передвигаться? А то, что он уже не вернется в Польшу, потому что дети выросли в Америке? Что польская система здравоохранения не может гарантировать ему того, что гарантирует американская? Ну и что с того? Другим наверняка приходится еще хуже.

В Америке, где он остался из-за военного положения (он лояльно писал: «никогда не употреблять слова „изгнание“»), он занимался тем, что мог и умел делать лучше всего: сближением культур. Посвятил себя переводам, главным образом с английского и русского, быстро приобретя славу одного из величайших переводчиков XX века. Всеобщий энтузиазм вызвали особенно его переводы Шекспира. Не все пьесы ему удалось перевести, но то, что он успел сделать, отличается таким точным и гибким языком, что даже самые брюзгливые актеры восхищались, как хорошо текст «укладывается во рту».

В Америке он издавал по-английски антологии польской поэзии, очерки и эссе о польской культуре и литературе. Преподавал, пропагандировал, доводил до сведения мира, что представляет собой эта удивительная страна с такой запутанной историей. Его собственная поэзия стала более

личной и, пожалуй, еще более драматичной. Появились сильные мотивы эмигрантской отчужденности, хотя и своего рода примирения с новой цивилизацией, по-своему захватывающей. За последний изданный сборник стихотворений, «Хирургическая точность», он, как уже сказано, получил премию «Нике».

Тексты и целые книги рождались под его пером в безумном темпе, но никогда — не за счет качества. Ян Котт, уже покойный великий критик и знаток Шекспира, с наслаждением рассказывал, как однажды он позвонил Баранчаку; трубку взял сын и сказал, что папа сейчас не может подойти, потому что переводит «Гамлета». «Ничего, я подожду», — ответил Котт.

Он знал, что время его сочтено и каждый день, вырванный у болезни, дает «чистую прибыль». Лишь года три-четыре назад он притормозил. Но всё еще не сдается. Всё еще над чем-то корпит — то над Шекспиром, то над шуточными литературными мозаиками. Когда я навестил его в Бостоне, я сфотографировал Баранчака в его комнатке-мастерской. На фоне заставленных книгами полок, а как же иначе. Три полки заняты его собственными книгами — от поэзии и критики до переводов и антологий. Всего более ста двадцати. Какой пустяк.

ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ

Разговор со Станиславом Баранчаком в перерыве

между говядиной в фиговом соусе и peach crisp with хворост & vanilla cream

— «Новая волна» давно отошла от гражданской поэзии. Но может быть, пора почистить оружие и выйти на улицу? В Польше времена такие, что так и подмывает снова подняться на баррикаду...

— Я вообще очень давно не пишу стихов. Корплю над переводами и литературными шутками, но своих стихов — нет. Хотя, конечно, трудно заречься. Но если даже... то против кого выходить на баррикады? Бить филистеров? Как в XIX веке? Но ведь, по правде говоря, именно филистер, единственный, независимо от эпохи, политики, строя, держится крепко, и похоже, что он вновь взял слово... Словацкий нахлобучивал на него грубоватую маску-череп, Тувим обзывал его страшным мещанином, Гомбрович и Мрожек разглядели его в фигуре поляка — жертвы судьбы, требующей сочувствия от всего мира. Конечно, эта форма довольно бездумного обожествления

польской сути помогала выжить в неволе, но, избавленная от натиска истории, она превратилась в окостеневшую химеру. А на такой химере, исток которой — почти исключительно философия обиды, невозможно строить ни литературу, ни, тем более, позитивную социальную программу.

— Но филистерство — это, пожалуй, нечто большее, чем чувство обиды и комплекс жертвы?

— Образцовый филистер упрощает всё до примитивных стереотипов. Пока это касается его частной жизни, пускай его. Каждый имеет право думать, как хочет. Но самое опасное — филистерство как модель управления, проведения политики. Для людей с такими горизонтами и травматическим типом реакций на мир другой человек всегда будет кем-то вроде противника. А противника надо либо привлечь на свою сторону, либо разбить. К счастью, демократия по своей природе допускает и такие промахи, и через это тоже надо пройти. Только немного жаль литературы, если она станет заниматься навязчивыми идеями филистеров. Думаю, что гораздо эффективней — «гражданское неповиновение», столь радостно распространяемое ныне через медиа, главным образом через интернет. Анекдоты в текстах и картинках, высмеивающие идиотизм властей. Это замечательное оружие и в то же время, так сказать, самозащита здравого смысла.

— А ты где? Ты же сам — мастер литературного абсурда!

— Я как раз дописываю новые куски в старую книжку «Слон, Труба и Отчизна».

Бостон, конец августа 2006

Станислав Баранчак

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Из книги «Утренний дневник»

(1972)

Посмотрим правде в глаза

Посмотрим правде в глаза: в отрешённые
глаза задетого локтем прохожего
с поднятым воротником; вытаращенные
глаза, воздетые к расписанию
дальних поездов; близорукие
глаза, ослепленные газетным петитом;
в опухшие глаза, едва промытые
спросонья, в заплаканные глаза, с которых днём второпях
вытирают непослушные слёзы, в глаза, поспешно
прикрытые монетами, — смерть строптива
и ох как резво загоняет нас в тупик
глазных впадин; мы должны до конца
отдать себя этим взглядам, чтоб оказаться на уровне
глаз, как надпись мелом на стене, давайте рискнем посмотреть
правде в ее мутные глаза, которых она с нас не спускает, —
глаза эти всюду: они устремлены в асфальт под ногами,
вперены в тучу, уставлены в афишу;
и если даже никогда прежде у нас не подгибались
ноги, одно только это способно бросить нас

на колени.

Из книги «Я знаю, это несправедливо»

(1977)

Не уместается в голове

Даже самая крохотная пуля прошивает навылет
всякое о ней представление, даже самая короткая
колючая проволока может больше огородить,
чем она обнять, это
не уместается в гробу, этот глобус, это не уместается
в глобусе, этот голод
свободы,
которая нам ежедневно приходит в голову,
но не находит в ней места и которую ежедневно
мы задаем себе сами,
как сочинение на дом, но,
на наше счастье, она
не уместается в слове.

(1974)

И только этот мир боли

И только этот мир боли, только этот
шар, сплюснутый в ледяных тисках,
иссеченный бурями, изломанный на колесе
меридианов, мир, который трещит по швам границ,
шитых белыми нитками, только эта
тонкая кожа земной коры, изрезанная
реками, истекающая соленым потом морей
между ударами лавы и ударами солнца,
и только этот мир боли, только это
тело в тисках воздуха и земли,
изрешеченное пулями, расколотое ударом
кулака, мир, который трещит под палкой
по костным швам черепа, только эта
тонкая корочка человеческой кожи, исхлестанная
в кровь, струящая соленое море пота
между ударом рождения и ударом смерти,
и только этот мир боли; ибо только этот мир
есть боль; ибо мир есть только эта боль.

Из книги «Искусственное дыхание»

(1978)

23. НН что-то пишет на пачке из-под сигарет

Я, человек в здравом уме и твердой памяти, служащий,
женатый, проживающий, несудимый,

я, родившийся тридцать три года назад, во время
войны, которая так и не кончилась и не кончится никогда,

я, знающий о себе только то, что у меня средний
рост и нет никаких особых примет,

я, тот, кто имеет из личных вещей только паспорт
в кармане на уровне сердца,

я, проснувшийся на рассвете от вопроса, которого прежде
никогда себе не задавал,

я, преследуемый голосами, которых раньше никогда
не слышал,

заявляю,

что никого не виню во всем, что
случилось,

никого кроме себя.

24. Песня из мегафона

Кто не с нами пусть проваливает прочь
Наконец-то заживем во всю мочь
Дали в морду? виноват ты сам
Кто не с нами тот — противник нам

Шаг наш тверд светел в будущее путь
Свежим воздухом наполним грудь
К чёрту весь этот смердящий хлам
Кто не с нами тот — противник нам

Хватит думать и не стой обалдуем
Шагом марш плечом к плечу вслепую
И на штурм вместе в ногу к воротам
Кто не с нами тот — противник нам

Из книги «Триптих из бетона, усталости и снега»

(1980)

За чем стоите

Женщины средних лет и старушки? пенсионерки:

за чем стоите стеной у этой облупленной стенки,
в кирпичном перстне которой «МЯСО» — витрины
брильянтик?

за чем стоите стеной, как хор из трагедии буден,
какой всеобщий насущный смысл вы тут добудете,
оправленный в очередь-стих, что выучен всеми на память?

плечом к плечу, день за днем — за какой баррикадой серой,
кому ваш потухший взгляд глаза ослепит примером,
какой порядок прикрыт стеной ваших плоских лиц?

за какой мутной мглой и тусклой болью вы с ночи
обреченно стоите у стенки, веря, хоть и не очень,
что на рассвете — спасенье, что нечто успеет случиться?

за чем вы стоите, и что за этим (не Всем) стоит,
не знаю, согбенные, бедные пенсионеры мои,
прижатые к стенке надеждой незримою, за которой —

стена незримого смысла — вашего и моего;
я тоже стою за ним, хоть рвусь бежать от него,
я тоже — среди усталого и молчаливого хора.

октябрь 1979 — февраль
1980

Из книги «Атлантида»

(1986)

Garden party

Апельсин, как я вижу, с Мальты — отменный!

Норвид

«Простите, я не расслышала вашу фамилию... Ах, Баначек?..
Это по-чешски, да? А, по-польски! Так значит,
вы из Польши? Как мило. Вы всей семьей здесь остались?
Давно ли?», «Ну нет, извини меня, Салли,
ты замучила гостя вопросами, а надо сперва
к столу пригласить — вот крекеры, вот халва,
чипсы, салат и прочее — нальете себе вы сами,
правда? Генри, хэллоу...», «Что нового в польских краях?
Чем занимается этот ваш Ва... ну, этот, с усами,
вы знакомы с ним лично? Нет? А я в новостях
видел: опять демонстрации — хотя разве можно верить
нашим телеведущим, это ж кошмар, просто звери,
волосы дыбом от этой их рекламы — цензуры —
европейцы правильно говорят, нам не хватает культуры...»,
«Хай, меня зовут Сэм. Мне тут Билли

говорил, вы из Польши — знаю Польшу, видел два фильма
о Войтыле — ничего ваш Папа не знает о том, что творится на
свете,
консерватор ужасный...», «А как ваши дети?
Уже говорят по-английски? Ходят в хорошую школу?»,
«С государственной школой тут дела невесёлые —
проблема номер один, увы...», «Я не согласна, Самми,
в школе сносно, когда родители, то есть мы сами
проявляем заботу...», «Да, но бюджет федеральный...»,
«Эй, вы там, закругляйтесь, что за обычай скандальный —
спорить — ведь столько закуски, а вина еще больше —
на серьезные темы...», «И все-таки, что слышно в Польше?»

Из книги «Открытка с видом из этого мира»

(1988)

Мещанские добродетели

О, это безбрежно-пьяное, боксёрски-лирическое
презрение в глазах художника Н, когда он, присев в «Апаше»,
исходит своим перегарным, небритым трехдневным духом:
как же так, я при галстукe, когда он под мухой,
я смущен, я застегнут, а он последнюю из рубашек
рвет, как грудь окровавленную! О, бездушье филистерское!

Мещанские добродетели... Как же я их стыжусь —

столько лет ниже уровня: позор — в биографии не иметь
ни разводов, ни отклонений, ни особых пороков,
ни психушек, ни бурных романов на стороне,
ни полнокровного вскрытия вен. Так, какие-то серые крохи
вместо скандалов радужных; что за конфуз —

всего-то неделю хандра, никаких шепотков упорных:

«У Б. много месяцев жуткий кризис»; и ночных звонков не
припомню,

не требовал от друзей срочно слушать новые стихотворения,
одолжить на бутылку, на героин, найти слова утешения

для меня; ничего — иногда письмо, но без крика: «На
помощь!»,

разве только с намеком вроде: «Я последнее время не в форме».

Знаю, это не материал для культа, легенды, мифа,
фильма с де Ниро, битьем стекла и прочими сценами.

В какой же момент я, неизлечимый отличник, ступил
на дурную дорожку? Откуда этот болезненный пыл —
притворяться здоровым, ставить перед прахом и тленом
барьерчики и макеты? От уверенности, что меня не услышат

в хоре профессиональных колоратур, звучно скулящих,
с моей адресованной никуда сдавленной просьбой покорной?

От робости? От невыносимо яркого, сверхпредельного
понимания, что надо, на самом-то деле,

каждый миг жизни повторять тот призыв «на помощь!»?

От нежеланья нарушить покой спасателей работающих

или из-за неверия в их спасательские таланты?

От гордыни: мол сам со злом, загнанным внутрь, совладаю?

Или иной гордыни: дескать, столь несравненный мастер

пороков и мрака не втянет в эту систему замкнутую

никого, забавляясь мыслью: о, если б я выдал вам то, что знаю;

если б хотел сказать вам то, о чем умолчал я, к счастью?..

Из книги «Хирургическая точность»

(1998)

Эта ария Моцарта

Эта ария Моцарта — из окна, как лекарство,

когда шел ты вдоль дома. А где-то валились

и опять воздвигались над руинами царства.

«Non so più...» — не на жизнь, а на смерть розы жар тот —

невесомой шуткой, мотыльковой пылью,

пульса дактилем — ария Моцарта. Стартом

неизбежным звучала, в подтверждение хартии

прав прохожего, той, которую не сокрушили

мы — другие, из руин поднимавшие царства, —

эта ария Моцарта, как гарантия яркости:
мол, пластинка не стерта; а приговор отменили
и открылось окно, как укромная арка.

Словно вечное благо бесценным подарком
чьи-то мертвые руки безрассудно вручили
нам — тем самым руинам, над которыми царства

воздвигались, и всё же в нас росла вопреки им
вера в то, что никто никогда не осилит
эту арию Моцарта — из окна, как лекарство.
И опять воздвигались над руинами царства.

Она плакала ночью

Ане, единственной

Она плакала ночью, но не плач его разбудил.
Плач был не для него, хотя мог быть и о нем.
Был ветер и дрожь стекла, посторонние меж людьми.

И полуосознанный стыд: ей стоит немалых сил
то, что подавлено, заглушить в размере двойном

этим плачем ночным, но не плач его разбудил —

ведь сколько было ночей, а ни разу он не обратил
внимания: скрип и шум мокрых ветвей за окном,
ветер и дрожь стекла не имеют связи с людьми

и правдой; их звук угас, прежде чем он опустил
в ящик бессонницы жесткую анонимку о том,
что «она плакала ночью, но не плач его разбудил».

Руку лишь протянуть — там трогательно другие,
неприкасаемо дорогие, со своим: «Крепким сном
обмани влагу подушки, ночной закон обойди».

Не протянул он руку. Нарушил бы, разбередил
грубой нежностью — нежность ее, прозвучавшую в нем:
«Да, я плакала ночью, но не плач мой тебя разбудил».
Был ветер и дрожь стекла, посторонние меж людьми.

Перевод Андрея Базилевского

НЕ ОБИЖАТЬСЯ НА ТОЛПУ

Был ли для вас неожиданностью август 80-го?

— Да, полной неожиданностью. Я хорошо помню, как в июле пожал плечами, узнав от Адама Михника о том, что происходит. Когда начались первые забастовки, мне не казалось, что из этого что-то проистечет. Ему, кстати, — пожалуй, тоже нет, хотя политическое чутье у него было лучше, чем у меня. Только потом, когда уже повсюду пошло в Гданьске, стало ясно, что это перелом. Я был в тогда в числе собиравших подписи под письмом от познанской интеллигенции на бастующую судоверфь. И случилась такая смешная вещь: меня, как это водилось, забрали с улицы и взяли на допрос. Я просидел несколько часов, не сказав ни слова, и в конце концов меня отпустили. Когда я был уже на улице, что-то на меня нашло, и я говорю следователю, который сопровождал меня до двери: «Ну, до свиданья в свободной Польше». И он ответил: «До свиданья». Разумеется, он ответил не думая, инстинктивно и, небось, бедняга, язык прикусил, а все-таки — что за утеха диссиденту. Для меня в этом было что-то символическое: еще неделю назад тот же гэбэшник скорее наорал бы на меня, а то и задержал бы снова.

— Спрашивая, был ли август 80 го для вас неожиданностью, я имел в виду и более общий вопрос: предвидела ли польская литература — или хотя бы предчувствовала — такое развитие событий? Был ли в Польше хоть один писатель, который предчувствовал, что все это так развернется? Появилась ли в литературе тогда, под конец 70 х, хотя бы приблизительная гипотеза о силах, которым предстоит изменить положение в Польше?

— Все это звучало, пожалуй, больше в публицистике, чем в литературе. Подпольные издания, такие, например, как «Роботник» («Рабочий»), каждой своей страницей выражали надежду, если не предвидение, что общество пробудится, что оно созреет до того, чтобы взять дела в свои руки. Но какой-то там небольшой процентик участия в том, что я назвал бы самообразованием польского общества в 1976-1980 гг., принадлежал в то время и писателям, подпольным и эмигрантским. Ясно, что литература действует на иных основаниях, нежели журналистика. Но при всей неизбежной элитарности ее распространения было впечатление, что хотя бы горстке читателей она открывает на что-то глаза — на что-то, что было и их опытом, но чего они, может быть, не умели

назвать или найти в этом смысл, и только литература могла им помочь. И была надежда, что, может быть, пробудившееся у этой горстки сознание или восприятие будет распространяться. Я хочу подчеркнуть, что речь вовсе не шла о каком-то преувеличенном политизировании литературы, превращении ее в публицистику, в чем часто упрекали независимых писателей. Если находился кто-нибудь такой, кто в стихах занимался просто антикоммунистической публицистикой, — что ж поделаться, графоманы есть повсюду, в том числе и на стороне «правого дела». А может, на ней — особенно. Я же сам писал в то время стихи, которые, надеялся я, позволят читателю как раз найти такой ключ к их собственному опыту, но эти стихи трудно было бы назвать «политическими» в прямом смысле слова. Наоборот, для меня это были необычайно интимные стихи — таких личных, «частных» стихов я никогда раньше не писал. Я говорю здесь о сборнике «Триптих из бетона, усталости и снега», который — так получилось — я целиком написал до лета 1980 го, составление книги закончил за несколько недель до августа.

— Даты в центральном цикле этой книги «Зимний дневник» указывают на зиму 1979–1980 го как на время написания большинства стихотворений....

— Да, и зима эта была для меня по крайней мере довольно мерзкой, без тени надежды. Не знаю, можно ли сегодня из этих стихов вычитать хотя бы след веры в то, что что-то изменится, — если что-то такое и есть, то разве что по принципу *credo quia absurdum*, из упрямства, не поддержанного никакими эмпирическими данными. Скажу иначе: если я во что-то тогда верил, то не в возможность какого-то «августа» — если б кто-то мне такую перспективу очертил, я счел бы ее совершенно недостоверной, — а в минимум: в то, что в человеке никогда до конца не истребить человеческое, что мы не позволим себя ссучить, превратить в сборище экземпляров *Homo sovieticus*. Так что я не был тогда совсем прогоркшим. И думаю, что это хорошо, а то некоторые прогоркшие пессимисты потом тем более бурно захлебнулись «августом», с тем большей охотой поверили — потому что и прогоркли они из-за того, что нуждались в такой вере, — будто польское общество совершенно чудесно и годы советизации сошли с него как с гуся вода, а теперь, когда стало можно, оно проявит все те великолепные ценности, которые таились в нем все время ненарушенными. Эта августовская эйфория... — я в ней, при всей радости от перемен, нехорошо себя чувствовал и сегодня хвалю себя за то, что был настолько разумен, чтобы не поехать на этой волне в своем творчестве. Всегда глупо поступает тот,

кто, мысля о человеке, особенно в общественном масштабе, оперирует поспешными обобщениями. Заметьте, пожалуйста, как это было с нами, когда миновала эйфория августа 80 го и миновал героический ужас декабря 81 го: страшное разочарование из-за того, что общество не дорастает до наших представлений о том, как оно чудесно, благородно и зрело...

— *Кого вы имеет в виду?*

— Из поэтов, например, Станислава Стабро. Или Томаша Яструна. Их стихи последних лет — сплошная иеремиада над безобразным обществом, над этой разочаровывающей нас малостью людей (выше которой, разумеется, вырастает сам поэт — он сам себя не разочаровал, и его благородство духа дает ему право раздавать осуждения). Думаю, что это не только страшно упрощенно и наивно, но и что в такой постановке вопроса есть нечто нехорошее — как если бы мы начали внушать партнеру по игре в шахматы, что перед началом партии мы якобы договорились, будто ему нельзя ходить конем. Осип Мандельштам, когда они оба с женой были на самом дне нищеты и унижения, выразился примерно так: «А кто сказал, что человек должен быть счастлив?» Так же точно можно было бы спросить и авторов этих плачей по обществу, которое якобы вдруг показало свою малость и неблагородно пытается поставить нам мат конем: «А разве общество подписывало когда-нибудь какое-нибудь обязательство быть всегда благородным, идеалистическим и „на уровне“?»

То, что я говорю, разумеется, не означает некритической терпимости ко всему, что происходит, — не всё действительно разумно, наверняка нет. То, что происходит сейчас во всей Центральной и Восточной Европе: Румыния, Югославия, Грузия и т.д., — может действительно подорвать у каждого мыслящего человека веру в то, что мы как человечество чему-то учимся от истории, или даже в то, что свобода для человека все-таки здоровей, чем неволя, или что демократия имеет больше плюсов, чем минусов. Как с этим учением человечества, я и сам не знаю, но что касается свободы и демократии, я бы и дальше упирался, что с ними нам лучше, чем без них... Хотя и у меня бывают свои дни черного отчаяния и тогда я проклиная своих соотечественников, голосующих за Тыминского [демагог начала 90 х], жителей Центральной Европы, стреляющих друг в друга, или вообще несовершенство человеческого существа. Да только из проклятий не сделать литературы, как, выпендриваясь перед публикой, не сделать балета. Если мы сочтем человечество — или свой народ — быдлом, то элементарная честность требует в таком случае

сломать перо, ибо зачем же писать для быдла? И, сверх того, элементарная честность требует и себя зачислить в это стадо, ибо кто ж мне выдал аттестацию, что я лучше других? Могу ли я быть настолько совершенно уверен, что я сам в соответствующих условиях не пойду голосовать за демагога или не примусь с пламенным энтузиазмом стрелять в соседа, если поверю, что за этим стоит нравственная и историческая правота?

— *«Новая волна» сосредоточила свое внимание прежде всего на разведке общественного положения в 70 е годы. Можно ли было с точки зрения «Новой волны» предвидеть сохранение коммунистического слоя после конца коммунизма?*

— Думаю, что нет, потому что если мы и пытались влезть в чужое нутро, понять чужие мотивы, механизмы логики и т.п., то это относилось скорее к поработанному коммунизмом рядовому человеку, а не к тем, что стояли у власти. Попытки понять «изнутри» тех, кто завоевывает и сохраняет власть, можно было в большем масштабе найти у писателей старшего поколения — от, скажем, «Божественного Юлия» Бохенского до «Плача Фортинбраса» Херберта и, наконец, «Мезги» Анджеевского. Нас больше коммуниста интересовал конформист. Впрочем, разница между этими понятиями в 70 е и так практически стерлась — можно было говорить, самое большее, о конформистах по выбору и конформистах поневоле, но и тут граница была неясной. В какую категорию попадал какой-нибудь чинуша или заводской мастер, вступая в ПОРП, чтобы обеспечить себе повышение или скорейшее получение квартиры? Это трудно было установить, и как раз эта серость переходной зоны, за которой тоже почти ничего прямо черного или белого не было, давала литературе шансы на успех. Потому что литературе как раз в серости и сферах промежуточных, двусмысленных есть что сказать.

Я, собственно, только в одном стихотворении ухватился за метод, который довели до совершенства Херберт или Шимборская, — когда полностьюходишь внутрь и запираешься в мозгу своего врага, то есть, говоря технически, метод ролевой лирики или драматургического монолога. Но как раз это стихотворение вызвало недоразумения, весьма для меня значительные. Я говорю о «Дилетантах» из вышедшего в 1986 г. сборника «Атлантида». Как-то так странно вышло, что все читатели принимали его «послание» — тезис о том, что общество, породившее август 80 го, было «обществом дилетантов», — смертельно всерьез, не замечая его прямо нагло лежащей на поверхности иронии. Одни протестовали,

говоря, что я посягаю на святыни, или что всё было не так, как я пишу. Другие — и это было еще хуже — соглашались с этим тезисом. Никто не заметил, что тезис ни в коей мере не мой, потому что не я говорю в этом стихотворении. Тот, кто здесь говорит, — это какой-то циничный и демагогический защитник системы ПНР, а тезис, который он высказывает, — прямое продолжение знаменитого мартовского лозунга «студенты — за учебу, писатели — за перья». Смысл стихотворения, если прочесть его хоть чуточку внимательно, не может быть ничем другим, как опровержением этого тезиса. Но вопрос как раз в том, что этого читательского внимания не было, что в 1986 г. никто не понимал этого рода иронии, как понимали ее на 30, 20, даже на 10 лет раньше, — это было для меня весьма поучительно. Это был сигнал, что некоторый код — скажем лучше, некоторые правила игры, определяющие чтение литературного произведения, принципиально изменились. Я не сказал бы, что ирония как техника и как перспектива вообще исчезла из польской поэзии — до такого, пожалуй, дело никогда не дойдет. Зато появилась потребность в элементарной серьезности, то есть, конечно, не в унынии или отсутствии чувства юмора, а скорее серьезности в том смысле, что берешь прямую и личную ответственность за слова, которые говоришь.

— Вы весьма решительно осудили военное положение после его введения. А сегодня, с перспективы прошедших лет, не кажется ли вам возможным, что существует связь между введением военного положения и мирным концом коммунизма в Польше? Герлинг-Грудзинский решительно опровергает такие мнения. По его убеждению, введение военного положение больше затормозило процесс нашего выхода из коммунизма, нежели открыло нам какие-то возможности. Как вы думаете, не позволило ли решение 13 декабря избежать такого развития событий в Польше, какое мы наблюдали в 1989 г. в Румынии?

— Аналогия с Румынией меня совершенно не убеждает: если бы такая резня могла произойти у нас, она произошла бы задолго до 13 декабря. На протяжении всего периода полусвободы времен «Солидарности» к этому было множество случаев, и никто за длинные ножи не хватался. За то, что в Польше все прошло сравнительно мирно, следует благодарить не военное положение, а этику неприменения насилия, которая вытекала одновременно из многих источников и была, возможно, самым ценным, до чего мы доросли в 70 е годы. Что же касается роли военного положения... Договоримся об одном: я действительно не политолог и не историк, и вообще политика и история — обе меня во многом отталкивают. В них надо,

конечно, как-то ориентироваться, но в пограничных ситуациях не следует рассуждать в их категориях — скорее надо идти за элементарными нравственными рефлексам, или, как говорил Слонимский, «на всякий случай вести себя порядочно». В ситуации, когда погибали безоружные люди (и что с того, что их погибло вроде бы «не так много», как было бы, если бы въехали советские танки? — гипотезы и релятивное мышление ни к чему тут не приводят, потому что самую страшную трагедию можно этим путем защитить, доказав, что могло быть еще хуже), — в такой ситуации, говоря, единственным поведением, достойным человека, был протест. Когда — может быть, когда-нибудь — все закулисные механизмы введения военного положения выйдут наружу, — тогда, возможно, история со своей прагматической точки зрения простит Ярузельского. Но сомневаюсь, что его хоть когда-то простит вдова или сирота шахтера с шахты «Вуек». Это не значит, что я мстителен и хотел бы видеть виновников на фонарях. С некоторым ужасом, должен сказать, замечаю высказывания, которых в последнее время немало в польской общественной жизни...

— *Вы имеете в виду требования отдать Ярузельского под суд?*

— Для меня дело скорее в том, что такие требования слишком часто становятся инструментом в политической борьбе, трамплином для чьей-то политической карьеры. Мне отвратительно всё, что в жизни общества опирается на сознательную эксплуатацию, на циничную игру на массовых эмоциях и инстинктах, особенно самых низких. Ответственность ответственностью, и, может быть, суд действительно был бы подходящим местом, чтобы решить, виновны или невиновны те, кто устроил военное положение, но я попросту думаю, что слишком много политиков и парламентариев на «декоммунизации» — теперь, когда за это требование ничего не грозит, — сбивают свои частные политические капиталы.

— *Определялся ли взгляд писателей «Новой волны» на события в августе 80 го, а затем в декабре 81 го мартовским опытом 68 го?*

— Довольно сильно, по крайней мере со мной это было так. Для меня весь мой пятилетний опыт в Комитете защиты рабочих [КОР] был прямым последствием марта 68 го, этого огромного мартовского поражения. КОР был попросту возможностью сделать что-то, необходимость чего была пронзительной: у нас было ощущение причин того поражения, т.е. факта, что в марте протест оказался в общественном вакууме. Но и с литературной стороны август 80 го был для меня, помню, точным негативом

марта 68 го — в том смысле, что люди начали говорить другим языком. Это очень хорошо показали в своих стихах того времени Лешек А. Мочульский и Бронислав Май. У Лешека есть такой фрагмент об ораторе, который читает с листочка, как и раньше, но на этот раз заикается, путается и поправляется, потому что наконец читает правду. И еще в третьей плоскости — ее можно было бы назвать плоскостью смысла истории — август 80 го противостоял марту 68 го, потому что избавлял нас от фаталистической веры в цикличность и безысходность любых начинаний, в то, что история — история поражений — вечно повторяется. Казалось, что на этот раз, впервые после войны, мы сделали решающий шаг за рамки заколдованного круга. Потом эти круговые и циклические образы с удвоенной силой вернулись в поэзию времен военного положения, но знаменательно — в ту, что похуже, постромантически-мартирологически-сентиментальную. Но есть еще один вопрос, крайне важный для поэтов. Речь идет об отношении поэта как отдельной личности к своей личностности и к ее оборотной стороне — бытию существом общественным. Адам Загаевский годы спустя заключил смысл этого в прекрасный заголовок своей книги — «Солидарность и одиночество». Думаю, надо было пережить март 68 го, чтобы понять, что ты не одинокий остров. Но надо было пережить и август 80 го, чтобы понять, что расплавляться во множестве до такой степени, что мыслишь исключительно его категориями, губительно, всегда губительно для художника, а по сути дела губительно для всякой личности. Даже если множество охвачено самыми благородными и самыми верными порывами и идеями. Адам, кстати, это выразил намного раньше — потому что такую опасность можно было увидеть уже в 68 м — в своей послемартовской поэзии, например в стихотворении «Огонь». Из своих стихов, написанных в послемартовский период, я упомянул бы здесь стихотворение «Толкучка, которая толчет и толмачит», где из самой игры слов в заглавии следует, что множество нам насчет нас самих что-то «толмачит», переводит, разъясняет, но одновременно что-то в нашей личности «толчет», топчет,... подавляет

— И даже протестуя против тоталитарного режима, требуя свобод для личности, она не перестает быть «толпой»?

— Вот именно. Думаю, что, например, когда мы смотрим вспять на литературу времен военного положения, то художественно хорошие произведения отличаются от плохих по очень простому принципу: в первых всегда присутствует раздвоение или, по крайней мере, полярная напряженность между чувством солидарности с множеством и чувством

одинокости в толпе. В хорошей литературе это всегда взаимосвязано, даже если — как в рассказах Януша Андермана — на первый взгляд кажется, что один из полюсов доминирует. Андерман неслышанно резко атакует террор некоторых коллективных мифов или стереотипов поведения, но какая-то связь элементарной человеческой солидарности с «униженными и оскорбленными» всегда у него существует. А плохо написанное всегда абсолютизирует один полюс: либо поэт подписывается под коллективными требованиями так, что за общими ценностями его самого уже не видать; либо, обидевшись на множество, он возносится над ним так, что только он и виден. Примеры? Примером первой из этих двух абсолютизаций может служить лирика Томаша Яструна времен военного положения. Примером другой — лирика Томаша Яструна после военного положения.

— *Возвращаясь к 1968 году: я в своем мартовском опыте усматриваю еще один момент. Большое впечатление производили на меня антистуденческие митинги, в которых принимали участие тысячи рабочих, неподвижно стоявших в заводских цехах с партийными транспарантами в руках. Я знал, что трудно приписывать этим людям какую-то сознательную вражду к «врагам народа», и все-таки эта инертность, молчаливая неподвижность толп была очень сильным, гнетущим опытом. Так же, как очень сильным и гнетущим опытом была чехословацкая трагедия. Я думаю не только о самом поражении «пражской весны», но также об участии польских воинских частей в этих событиях и о том, как про это говорили тогда у нас по домам...*

— То, что я говорил об ощущении поражения в связи с мартом 68 го, связано как раз с такого рода опытом. Больше всего нас тогда шибануло не то, что нас раз-другой разогнала милиция, оклеветала пресса, что некоторых из нас исключили из вузов или посадили. Труднее всего было принять то, что нашими соотечественниками и близкими так легко было манипулировать. Тот факт, что о нас или о чешских реформаторах можно было говорить несусветную ложь — это одно дело; но то, что столько людей не моргнув глазом в это верили!.. Сегодня это может показаться невероятным, но, например, польское участие в нашествии на Чехословакию очень многие легко проглотили, потому что пропаганда немедленно накормила общество какой-то невероятно примитивной чушью о том, что Западная Германия вот-вот собиралась совершить аншлюс Чехословакии и если бы не наши храбрые танкисты...

— *Да, запугивание Германией действовало успешно...*

— Абсолютно. Коммунистическая пропаганда одно умела отлично: натравливать людей друг на друга. Она делала это, используя разные паскудные инстинкты, которые в нашей человеческой природе, к сожалению, сидят как ее неотделимые элементы. Например, желание отомстить за реальные или мнимые обиды или отыграться за унижение. Или необходимость избавиться от своего индивидуального «я» (и от связанной с ним индивидуальной ответственности), а взамен отождествиться с той или иной группой, которая за нас принимает решения, в частности о том, какого врага нам ненавидеть. Сама ненависть тоже в нас заложена, и пропаганда толкала ее в нужном направлении, как правило успешно. Я говорю тут о разных формах агрессии, но натравливание людей друг на друга состояло и в том, что в богословском языке называется грехом пренебрежения. Натравливать можно и играя на нашей трусости или эгоизме — подкидывая нам ложь, которая подкормит и оправдает наше нежелание оказать кому-то помощь или понять чужие аргументы.

— *Не таков ли был результат пропаганды в случае Афганистана? Афганистан, пожалуй, не приковал внимания польских писателей в такой степени, как он того заслуживал. Иначе обстояло дело, например, в 1956 г., когда в Польше было написано несколько проникновенных «венгерских» текстов. Августовская эйфория заслонила нам ту азиатскую трагедию, хотя это было связано с нашим положением...*

— Наверняка. Но я, например, вообще очень редко, как это привыкли называть, «реагирую» стихами на какие-то конкретные исторические события. Если мои стихи, как это когда-то называл, кажется, Витольд Вирпша, — это «стихи на случай», то скорее в том смысле, что их провоцируют случаи или события более частные и тривиальные. Тем не менее надеюсь, что из текущей истории тоже что-то в этих стихах отражается, только не так прямо. Мне сейчас приходит в голову прекрасный пример такого косвенного отражения в стихах у поэта куда более высокого ранга — самого Иосифа Бродского.

Он пишет вовсе не об истории, описывает звезды на зимнем небе, говорит: «Сколько света набилось в осколок звезды, / на ночь глядя! как беженцев в лодку». Бродский мог не написать ни одного стихотворения о трагедии сотен тысяч беглецов из Индокитая или с Карибских островов. Однако он не бежит от этой темы, не бежит от мира, в котором живет. Одно это сравнение значит куда больше, чем стихи «на тему». Тему можно себе задать и, выполнив задачу, о теме забыть. А вот то, что поэт использует образ человеческой трагедии как элемент

своей метафоры, означает, что этот образ прочно сидит в его воображении — как заноза, которую не удастся вытащить.

Об Афганистане я, кстати, сходным образом по крайней мере однажды написал, хотя никто этого не заметил: стихотворение было длинное, а кто сегодня читает длинные стихи... Я говорю о «Новогодней элегии» из вышеназванного цикла «Зимний дневник» в «Триптихе». Это стихи о встрече Нового года в жилом микрорайоне — и одновременно о безнадежности человека в потоке творящейся истории, которая несет его по течению как опавший листок, а он не может ни остановить ее, ни освободиться. И там есть в одной строфе — это вообще был, как я осознал много лет спустя, такой мой эксперимент в сторону Одена, попытка написать свой собственный вариант его стихотворения «1 сентября 1939 года» — заметим, почти ровно через сорок лет после того, как то было написано; даже форма строфы похожа... Так вот в одной строфе есть образ, который должен выражать господствующий в современном мире опыт, согласно которому в любой момент может случиться всё, даже самая безумная и наглая форма насилия: герой отдает себе отчет в том, что находится где-то между «сытым и светлым городом», какой-то западной столицей, где как раз в этот момент очередной террорист убивает очередного заложника, и какой-то пустыней на востоке, где в тот же момент танки сминают «смешные преграды и принципы» в очередном акте оказания так называемой братской помощи путем вторжения. Если кто-то по прошествии лет вернется к этим стихам, то сможет ассоциировать эти «танки» с самыми разными аналогичными ситуациями, но здесь речь именно об Афганистане, который, когда я это писал, был совсем недавним и весьма гнетущим опытом.

— В вашей интеллектуальной биографии большую роль сыграла фигура Дитриха Бонхёффера...

— Действительно, в начале 70-х я очень сильно пережил чтение его избранного и книги Анны Моравской о нем. Я тогда кормился самым разным чтением, и сам себя не раз спрашиваю, что заставило меня так увлекаться одновременно Бонхёффером, эссе Оруэлла и, например, воспоминаниями Надежды Мандельштам. Думаю, то, что соединяло эти фигуры — такие крайне непохожие друг на друга, если, например, принять во внимание их отношение к религии, — была позиция, как в заголовке [польского перевода] последней из трех, «надежды в безнадежности». Они знали, что борьба со злом в их обстоятельствах безнадежна, обречена на поражение, потому что зло несравненно сильнее их, одиноких личностей. И

в то же время видели, что не взбунтоваться против такого зла, ничего не сделать — будет еще худшим поражением, поражением их человечности.

— Думаете ли вы, что такой одинокий, бессильный, но необходимый протест против зла, какой представляет собой фигура Бонхёффера, может иметь какое-то значение в посткоммунистических обстоятельствах?

— Разумеется. Именно потому, что не отрицает и не пытается уменьшить силу зла в мире и одновременно в каждой человеческой душе. Чем больше у нас на глазах терпят крах различные утопии, тем большее значение приобретает сознание зла, на какое способен человек. Не в том смысле, чтобы заменить розовость утопий на черноту какого-то нового антигуманистического нигилизма. Наоборот, я скорее думаю, что нигилизм — это чаще всего простое продолжение утопического мышления. Самыми черными нигилистами бывают те, кто в свое время пел гимны врожденному добру человеческой природы и тем или иным утопиям, воздвигаемым на фундаменте этого добра. Подробней я писал об этом в очерке, где безжалостно прошелся по творчеству такого обожаемого критикой на Западе драматурга из бывшей ГДР — Хайнера Мюллера, глупого, как башмак, соцреалиста-нигилиста. Утопический гуманист раньше или позже неизбежно начинает ненавидеть людей, потому что они ему мешают в его светлых планах: он такого хорошего им хотел бы, такой удобный лагерь или коммуну устроил бы для них на острове Утопии, а они не хотят приспособиться: все они неудобно разные и осмеливаются иметь свои собственные концепции. Вместо того чтобы быть утопистом или нигилистом, лучше стремиться к золотой середине. Или скорее — серой середине. Быть умеренным пессимистом относительно сути человеческой природы. То есть понимать, что человек, к сожалению, если дать ему на то разрешение в виде соответствующей идеологии, почти всегда окажется трусом, садистом и эгоистом, но вот именно: почти всегда. Случаются исключения, и они позволяют нам вообще жить на этой Земле, ибо если бы мы не видели этих отдельных примеров человеческого добра, то у нас не было бы никакой надежды на то, что и в более широком масштабе всё может перемениться к лучшему. Настроиться на худшее, но тем более ценить каждый случай, когда человек поднимается выше этого худшего, — вот что по крайней мере спасает нас от разочарований и обиды на человечество.

— А не обращает ли нас такой образ мыслей, предполагающий, что стихия зла в нас сильнее добра, по сути дела против демократии? Ибо он по существу приводит к выводу, что самой подходящей была бы консервативная власть просвещенной элиты, быть может теократической, которая взяла бы на себя обязанность защищать «дурного человека» от него самого?

— Согласен, такой вопрос логически неизбежен, но тот, кто мыслит действительно логически, в свою очередь внимательно рассматривает понятие «элиты» и видит, что тут есть одно техническое препятствие. Понятие элиты основано на некотором внутреннем противоречии: с одной стороны, элита неизбежно выбирает сама себя (ибо если бы ее выбирали большинством голосов, она была бы представительством того, что есть в обществе среднего, т.е. не элитой), с другой — чтобы успешно править, она должна быть узаконена обществом, а это невозможно именно потому, что элита сама себя избрала, не спрашивая у общества его мнения. Некоторым выходом из этого логического заколдованного круга становится как раз отказ от логики, т.е. всеобщее согласие на то, что элита избрана по принципу, остающемуся вообще вне обсуждения, например наследственности (как при типичной монархии), вмешательства сверхъестественного фактора (как при теократии) или ничем не замаскированного террора (как при диктатуре). Но где сегодня на земном шаре отыскать хоть крохотную страну, где царило бы всеобщее согласие на так поставленное решение? Даже теократия всех не удовлетворит, потому что всегда найдутся какие-нибудь атеисты, агностики или иноверцы. Шутки в сторону, мое мнение о демократии банально, я попросту согласен с известными словами Черчилля о том, что при всех ее недостатках это единственная система, при которой гражданин, разбуженный в пять часов утра звонком в дверь, может быть совершенно уверен, что за дверью — только молочник. Власть большинства обладает серьезными минусами, но она всегда справедливей, чем власть самозванной элиты.

— Тут может прозвучать известный контраргумент: несколько десятков процентов немцев демократически проголосовали за Гитлера...

— ...а у нас путем демократического голосования чуть не стал президентом Станислав Тыминский (я, разумеется, не ставлю знака равенства ни между этими господами, ни между этими фактами). Да, конечно, возникает вопрос, который ставил еще Токвиль или наш Красинский: а что, если большинство неправо? Единственный выход — различать соображения по

существованию и формально-правовые: как гражданин демократического государства, я подчиняюсь воле большинства, но это не значит, что мне нельзя — в рамках легальной оппозиции — подвергать критике это решение, публично показывать его ошибочность, действовать в пользу перемены решения при следующем голосовании и т.п. Это, разумеется, возможно только тогда, когда демократия обладает дополнительно встроенными общественными механизмами, гарантирующими от полного сбрасывания мнения меньшинства со счетов, от ограничения свободы слова, от диктаторских тенденций и т.д. Дело Тыминского тут хороший пример: конечно, четверть общества самым заурядным образом дала свести себя с ума. Но допустим, что это было бы 25, а 60%, — и что тогда? Признать голосование недействительным, потому что мы, те, кто поумнее, знаем лучше? Тут мы снова касаемся вопроса о так называемых элитах — не выношу этого слова, но употребляю его, чтобы включиться в неустанную дискуссию на тему, чем следует быть этим «элитам», которая с 1989 г. катится по страницам польской прессы и всё никак никуда не докатится. Одновременно мы возвращаемся к проблеме обиды интеллектуала на разочаровавшее его общество и ненависти гуманиста к человечеству, которое не дорастает до его о человечестве представлений. Так вот, мне кажется, что если в демократическом обществе нужна какая-то элита, то это элита людей мыслящих, творческих, способных предложить обществу идеи или конкретные решения в области общественного бытия, защищающих некоторые жизненно важные ценности от легкомысленного их нарушения. Но по какому принципу она должна быть избрана? Думаю, что это тот единственный тип элиты, которая — вопреки определению, а значит, нужно какое-то другое название, — не выбирает сама себя, а состав ее определяют попросту конкретные услуги и заслуги, то, что данная личность отдала обществу. Не будем бояться ошибок, узурпации или мошенничества. Процесс формирования такого рода авторитетов длителен, и ошибки сами обнаруживаются, заблуждения исправляются. Как сказал Авраам Линкольн, «можно втирать очки всему обществу некоторое время и части общества всё время, но нельзя втирать очки всему обществу всё время».

— Вероятно, Вацлав Гавел может служить примером такого вполне заслуженного авторитета. В Польше, правда, уже несколько раз проявилась тенденция отодвигать людей из оппозиционной элиты (все-таки еще раз употребим это слово) 70 х годов от политических решений, но это не обязательно станет устойчивой тенденцией.

— Будем надеяться. Что же касается Гавела, то это человек, мыслитель, писатель и политик, к которому я уже очень давно отношусь с восхищением, о котором немало писал, по-польски и по-английски: лично для меня особенно важно было написать несколько лет назад статью о его письмах из тюрьмы, потому что при чтении этой книги я многому научился. Гавел — чрезвычайно редкий пример политика, способного без каких бы то ни было противоречий или непоследовательности быть одновременно верным определенным принципам и открытым к компромиссу. Это происходит потому, что его уровень интеллекта и в то же время порядочности позволяет ему безошибочно проводить различие между двумя типами понятия «компромисс», обычно легко смешиваемым. Существуют такие компромиссы, которые основаны попросту на том, что ты затыкаешь уши, чтобы не слышать голоса собственной совести, как только это выглядит выгодным или рекомендуемым. Но есть и другие компромиссы, состоящие в признании того факта, что мы можем ошибаться и что другие люди могут иметь соображения, отличающиеся от наших или даже противоречащие нашим, но столь же существенные. Успех Гавела состоит в том, что он своим примером доказывает, что можно быть лидером большого, отягощенного многочисленными трудностями и раздираемого конфликтами государства и при этом не заключать компромиссов первого типа и никогда не отвергать компромиссов второго, если они служат интересам граждан. Разумеется, вполне возможно, что и чехи со словаками дадут свести себя с ума и Гавел на следующих выборах не пройдет. Но за эти первые несколько лет он дал достаточно убедительный пример, позволяющий опровергнуть популярное убеждение, согласно которому честный политик — это политик неэффективный и что вообще политика — сфера одних только карьеристов, циников и лицемеров.

— *Мы все время говорим о демократии, но свободная игра политических сил имеет свою параллель в свободном рынке; демократия — это еще и капитализм, свобода означает и необходимость больше прежнего полагаться на самого себя. Так обстоит дело с личностями: предлагаемая свобода ценна для молодых, талантливых и сильных. А что с остальными, заурядными, непробивными, не обладающими талантами к конкуренции, не говоря уж о больных, старых и прочих? Для всех них свободный рынок станет попросту жизненной катастрофой. Катастрофой он выглядит и по отношению к более широкому кругу явлений, таких, например, как вся сфера культуры. Оттуда сегодня раздаются многочисленные жалобы: существование культуры подрывается, с одной стороны, отсутствием*

государственных дотаций, с другой — резким притоком конкурентной продукции западной массовой культуры.

— Должен откровенно сказать, что я это беспокойство — и личностное, и надличностное — прекрасно понимаю и тоже в какой-то степени испытываю. Хотя бы как писатель, у которого в Польше есть свой читательский рынок и который, естественно, опасается, что этот рынок резко сократится в результате как пауперизации общества, так и конкуренции массового мусора. Но в то же время, действительно не пренебрегая всеми этими страхами и недобрыми предчувствиями, я считаю, что в Польше они до некоторой степени разжигаются действием не вполне соответствующих реальности стереотипов. Я имею в виду прежде всего стереотип «волчьего капитализма», который с запалом пропагандируют экономические либералы и разоблачают различные демагоги, в то время как почти никто не объясняет запуганной публике, что на самом деле такого зверя, как волчий капитализм, уже много десятилетий практически не существует. Это не значит, что всякое развитое западное государство есть государство провидения, но повсюду существуют те или иные контролирующие механизмы, благодаря которым люди менее успешные или менее продуктивные отнюдь не осуждены на голодную смерть. То же самое и с культурой: на Западе она как правило действительно не находится на содержании у государства, но нигде, даже в Америке, это не означает, что она осуждена жить по волчьим законам рынка и совершенно лишена поддержки или помощи. В США существуют два государственных фонда, дающих стипендии деятелям искусства и ученым-гуманитариям, но куда большую — по сути решающую — роль играют частные фонды, деятельность которых облегчили разработанные налоговые предписания. Америка, при всех своих недостатках, совершённых в истории ошибках и неразрешимых проблемах, — это вообще страна, которую я весьма советовал бы польским публицистам принять всерьёз (вместо того чтобы писать о ней с традиционной иронической усмешкой европейского превосходства), познать и обдумать как возможный пример для подражания. Притом в целом множестве конкретных областей жизни, от отношения общества к инвалидам, специфически американских форм «органического труда» и локальной демократии и вплоть хотя бы до вопроса о том, как в рамках свободного рынка и потопа массовой культуры возможно сохранение и даже расцвет культуры «элитарной». Опять появляется это несчастное слово, и на этот раз я должен взять его в особо жирные кавычки. Как раз Америка — лучший пример того, что «массовость» культуры может соединяться с художественными запросами

(пример такой банальный, что даже стыдно приводить: джаз), а мнимая «элитарность» других ее произведений становится понятием совершенно пустым, когда эти произведения (картины в музеях, записи классической музыки) общедоступны и люди пользуются ими в массовых масштабах... Одним словом, если уж чего-то бояться, то не свободного рынка и свободы, а скорее того, что, как это не раз уже в истории бывало, страх перед свободой может подсказать нам ложное решение в виде того или иного «бегства от свободы». Чтобы закончить еще одной классической американской цитатой, приведу слова президента, более близкого к нашему времени, Франклина Делано Рузвельта: «The only thing we have to fear is fear itself».

Январь 1992, Польша

Вели беседу Кристина Ларс и Стефан Хвин

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• Алан Старский, лауреат премии «Оскар» за сценографию к кинофильму «Список Шиндлера», «превратил спартанский интерьер торговых рядов в место, достойное вручения главных кинопремий. Торжествует простота, стены затянуты метрами серой ткани, столы покрыты белоснежными скатертями, белым материалом окутаны и стулья. Всё дополняют три огромных телеэкрана и десятки прожекторов. Прежде чем войти в зал, гости обязательно проходят по красной ковровой дорожке», — так описывает новый интерьер варшавского зала «Экспо» Беата Кенчковская. И всё это — в связи с присуждением Европейских кинопремий, вручение которых происходило в Варшаве. Напомним, что первым «европейским» лауреатом был Кшиштоф Кесьлёвский и его «Короткий фильм об убийстве». Восемнадцать лет назад. В этом году премия за лучший фильм присуждена немецкой картине «Чужая жизнь» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (фильм награжден еще по нескольким категориям), а героями вечера стали вдобавок режиссер кинофильма «Вольвер» Педро Альмодовар (премия за лучшую режиссуру) и исполнительница главной роли в этой картине Пенелопа Крус (лучшая актриса). Премию за вклад в киноискусство получил Роман Полянский. В связи с этим Кшиштоф Клопотовский написал: «Роман Полянский (...) завораживает нас собственной замороженностью злом. Не заключаем ли мы договор с дьяволом с помощью режиссера, которого случай или предназначение заставили уродиться в Польше? У немцев есть Мефистофель, искушающий Фауста. У нас нет художника размаха Гёте. У нас есть Полянский. Мы вместе с ним переживаем драму падения на самое дно терзаний, чтобы взойти на вершину исполнения и славы». Делая вывод из этой великолепной церемонии, Тадеуш Соболевский написал: «Фонем практически всех номинированных кинофильмов служат история, войны, террор. Но как когда-то „польская школа“, так и теперь европейские режиссеры рассказывают не об истории, а о человеке, вовлеченном в историю. Они идут против течения — в общепринятых взглядах, в политике. (...) Обращение к истории не минует и нашу кинематографию. Лишь бы только это не происходило под лозунгом „исторической политики“. Я не уверен, что мир ждет кинофильмов о польских поражениях и победах, о том, какими

мы были героями и как нас предали другие. Речь скорее идет о том, что можно узнать о человеке, прошедшем через испытания войной, коммунизмом, революцией „Солидарности”».

• В Лодзи завершился 14-й международный кинофестиваль «Camerimage», посвященный операторскому искусству. Лауреатом международного конкурса, получившим «Золотую лягушку», стал мексиканский оператор кинофильма «Лабиринт Пана» режиссера Гильермо дель Торо, «повествования, где жестокости испанской гражданской войны соединяются с миром эльфов, фавнов и чудовищ, рожденным в воображении девочки, стремящейся бежать от действительности». Конкурс польских фильмов выиграла лента «Площадь Спасителя» Кшиштофа Краузе и Иоанны Кос-Краузе, снятая оператором Войцехом Старонем, где «сами съемки не особенно бросались в глаза, зато передавали атмосферу сюжета, соответствовали мысли режиссера, а это в работе оператора самое главное», — таков вердикт жюри. Специальная премия «за глубокое визуальное проникновение» присуждена Виму Вендерсу, председателю Европейской киноакадемии, который приехал в Лодзь прямо... из Варшавы. А Якуб Вевюрский в сообщении о фестивале «Camerimage» писал, что «тысяча мест в лодзинском Большом театре — это слишком мало, в течение всех девяти дней фестиваля зрители занимали лестницы и подпирали двери. (...) ...а по красной ковровой дорожке наряду со звездами разгуливали и обычные зрители. (...) Режиссеры и операторы не были отгорожены рядами охранников и охотно пускались в разговоры со зрителями; останавливали их главным образом студенты киношкол, которых здесь очень много». Лодзь, столица польской кинематографии ее лучших времен, на эти несколько дней обретает свой прежний кинематографический блеск. Вдохновителем таких начинаний стал и американский кинорежиссер Дэвид Линч, который представил свой, уже окончательный проект Центра мирового искусства, где «искусство можно будет не только глядеть, но и творить». На фестивале состоялась польская премьера последнего кинофильма Агнешки Холланд «Копия мастера», посвященного Людвигу ван Бетховену. «Холланд, — пишет Тадеуш Соболевский, — затрагивает в этом фильме парадокс великого творчества: с одной стороны, творчество — это выражение мощного „я”, а с другой — оно это „я” превосходит. Форма, к которой стремится мастер, не принадлежит ему, она сверхчеловеческая или скорее межчеловеческая. (...) Дерзкая идея (...) достигает здесь полноты выражения. Речь идет о преодолении дуализма, об ощущении единства мира.

Столкнута друг с другом человеческое и божественное, духовное и плотское, прекрасное и уродливое. (...) Удастся ли свести Бога на землю, не унижая божественности? Всё есть человеческое, всё есть наша участь — об этом свидетельствует фильм. (...) Этот фильм поднимает настроение (...) На мгновение можно поверить, что за слоем окружающей нас мглы скрывается нечто великое». А Агнешка Холланд приступила к работе над художественным телесериалом, посвященным польским верхам власти.

- В возрасте 83 лет в Лодзи скончался Леон Немчик, один из самых популярных польских киноактеров второго плана. Он снимался также в немецких, французских, чехословацких, югославских кинофильмах. Свои самые знаменитые роли он сыграл в картинах «Нож в воде» Романа Полянского, «Поезд» Ежи Кавалеровича, «База умерших людей» Чеслава Петельского. А четыре года тому назад, на 10-м фестивале «Camerimage» он получил от операторов специальную «Золотую лягушку» «за исключительный вклад в развитие актерского искусства».

- «Новые тенденции в польской живописи», первая в стране выставка, собравшая и представившая те течения и направления в польской живописи, которые существуют с 1960-х по настоящий день, открылась в городской галерее Бюро художественных выставок в Быдгоще. «Быдгощская выставка, — говорит ее организатор, — ставит несколько вопросов: какова современная польская живопись, действительно ли она польская, что вдохновляет польских художников, какие события они комментируют в своих работах, эпигоны они или творцы?.. Мне бы хотелось, чтобы в результате увиденного на этой выставке возникало впечатление, что представленные работы созданы здесь, рождены нашей культурой, нашим мировосприятием, нашим образом мыслей». Пшемислав Ендровский, один из кураторов выставки, говорил перед ее открытием: «Мы выбирали таких художников, относительно которых не возникало сомнений, что это действительно художники. Однако зрители не увидят „легких“ картин. Традиционное понятие живописи будет на этой выставке постоянно проверяться и преодолеваться».

- Вильгельм Сасналь — пожалуй, самый известный сегодня польский художник (во всяком случае он лидирует в рейтингах популярности). Родился в 1972 г. в Тарнове, учился в краковской Академии изящных искусств. Его работы находятся в лондонской галерее «Тэйт-Модерн» и парижском Центре Помпиду. Связан с галереей «Растер» и фондом галереи «Фоксаль» в Варшаве. В этом году он занял первое место в

рейтинге международного художественного журнала «Флеш арт» и получил премию им. Ван Гога, а в Амстердамском городском музее («Стеделик») в настоящее время завершается выставка его работ. Сам он говорит о себе: «Я не тот типичный художник, образ которого быует в литературе или кино: пьяный, в шляпе. Я твердо хожу по земле. Я настолько сознаю то, что делаю, что, пожалуй, никто не может меня ни к чему принудить. (...) Мой ум не в состоянии произвести вымысел. Я всегда стараюсь исходить из того, что уже существует. Никогда я, например, не писал абстрактных картин. (...) Может, я пишу документальные картины, не сюжетные? А может, мне не хочется добавлять новые представления к которым уже существующим. Зачем их умножать?»

- Сольным мини-концертом Йошки Броды открылась в варшавской галерее «Захента» первая большая выставка замечательного иллюстратора детских книг и скульптора Юзефа Вильконя. Сам автор выступал в костюме св. Николая, ибо вернисаж сопровождался традиционным празднованием Николина дня. «Самым большим удовольствием, — пишет Агнешка Ковальская, — было то, что в этот день на выставке разрешалось всё трогать руками и играть чем хочешь. И малыши ласкали деревянных зверюшек, вырезанных Вильконом, садились верхом на лося и тура, рассматривали книжки и играли на человекоподобных трембитах». А в книге отзывов по поводу одного из экспонатов была сделана такая запись: «Просим оставить Ковчег на Замковой площади, будет на чем спастись».

- На ежегодной Ярмарке исторической книги были вручены премии «Клио» за лучшие книги по категориям: авторская («Съезд в Гнезне. Религиозные предпосылки основания Гнезненского архиепископства» Романа Михаловского), научная монография («Украинские партизаны. 1942-1960. Деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии» Гжегожа Мотыки) и издательская (издательство Ключинского за «Историю кресов»). А дискуссии, проведенные в ходе ярмарки, касались прежде всего новых школьных программ по истории: теперь решено отдельно преподавать историю Польши и всеобщую историю и в рамках той же логики добавить новый предмет — патриотическое воспитание. Книжная ярмарка сопровождалась показом документальных кинофильмов.

- Истинным любителям исторических раритетов стоит рекомендовать выставку ценных библиофильских изданий «Общество польских библиофилов в Варшаве. 1921-1926» в

Историческом музее. Настоящей сенсацией этой выставки стала коллекция, посвященная периоду оккупации. «Общество, — пишет Влодзимеж Калицкий, — действовало в подполье чрезвычайно энергично, о чем свидетельствуют выставленные здесь подпольные издания. Особенно расцвело в то время искусство экслибриса: после наступления комендантского часа делать было нечего, и художники-графики создали множество роскошных библиофильских миниатюр».

- Писатель, эссеист и переводчик Яцек Бохенский («Божественный Юлий», «Поэт Назон») стал лауреатом присуждаемой польским ПЕН-Клубом премии им. Яна Парандовского.

- Во Вроцлаве, одном из наиболее динамично развивающихся в настоящее время польских городов, в этом году впервые присуждалась центральноевропейская литературная премия «Ангелус». «Покровитель премии, Ангелус Силезиус (Ангел Силезец), — пишет репортер, — это символ примирения, диалога. Он был силезским религиозным поэтом эпохи барокко, писал по-немецки, прежде всего о мистическом единении с Богом. К его произведениям обращались и протестанты, и католики. Это вроцлавянин, вошедший в европейскую литературу». Жюри под председательством русской поэтессы Натальи Горбаневской присудило премию «Ангелус» украинскому писателю и поэту Юрию Андруховичу за роман «Двенадцать кругов». Принимая премию, Андрухович пожелал Вроцлаву стать настоящей столицей Центральной Европы и заметил: «Мой друг сказал мне когда-то, что Вроцлав — это город людей, готовых рисковать. В данном случае это сбылось». Приведем еще одно его высказывание, сделанное на конференции в Киеве, посвященной столетию Ежи Гедройца: «...пожалуй, не существует занятия, более увлекательного и необходимого, чем объединение Европы. По крайней мере в тех местах, где ее сумели разделить структуры Евросоюза (...) ...и я задаюсь вопросом: „Как объединять Европу” То есть я могу лишь поставить вопрос, каким следует быть этому альтернативному проекту. (...) Во всяком случае мне пришло в голову название. Назовем его так, как называлась полузабытая теперь уже радиостанция — „Свободная Европа”. И дадим объявление во все приличные СМИ: приглашаются визионеры, охотники за привидениями и реаниматоры. Приглашаются все, кто до сих пор ищет Европу».

- Только что вышел последний том гуситской трилогии Анджея Сапковского «Lux perpetua» (два первых — «Narrenturm» и «Божьи воины»). В сюжетном отношении, пишет Мариуш

Чубай, это «добротно скроенное повествование о былых веках (...) где мы знакомимся с судьбой Рейнмара Рейневана, довольно влюбчивого типа, на жизнь которого постоянно кто-нибудь покушается, а когда герой становится на сторону гуситов — число врагов многократно возрастает». «Действие двух предыдущих томов, — пишет Войцех Орлинский, — разворачивается у окраин тогдашней Польши, где-то между Прагой и Вроцлавом, там, где в начале XV века разгорелась кровавая религиозная война». В третьем томе действие захватывает территорию Польши, и «это, пожалуй, самая политизированная из книг Сапковского. Автор вкладывает в уста героев, живущих в XV веке, слова, служащие очевидным комментарием к современности». «В этом историческом романе, — это снова Мариуш Чубай, — столько же истории, сколько и современности. А печаль средневековой Нижней Силезии — это и печаль полной конфликтов Трех-с-половинной Речи Посполитой».

- В последнем списке польских бестселлеров на первом месте стоит «Lux perpetua» Анджея Сапковского, а за ним — «Я же говорила» Катажины Грохоли и «Мое первое самоубийство» (и девять других рассказов) Ежи Пильха. В литературе факта на первом месте Томаш Лис с книгой «Польша, дурень».

- После двадцатилетнего перерыва в календарь польской художественной жизни вернулся Фестиваль песни... на сей раз российской. Вернулся в лучах славы, как мероприятие, пользующееся симпатией зрителей и собирающее интересных исполнителей, прежде всего любителей. «Почти половина тех, кто поет на конкурсе, — пишет репортер, — это люди, живущие и работающие в Польше, имеющие русские и украинские корни, что представляет собой очевидный результат и нашей открытости, и тех перемен, которые произошли за последние десять лет в России (...) среди исполнителей было также несколько студентов русистики или славистики из польских вузов». Первую премию (и 20 тыс. злотых) получила 17-летняя варшавская школьница Марина Лученко. Конкурс сопровождался концертами «сибирского барда» Евгения Малиновского и Жанны Герасимовой, а в холле варшавского клуба «Скарпа» открылась выставка, посвященная Владимиру Высоцкому.

- «Государственную радиостанцию следует оценивать по возложенной на нее миссии. Подсчитывать, сколько времени какая партия была в эфире, — это недоразумение», — утверждает новый председатель Польского радио Кшиштоф Чабанский, назначенный на свой пост правящей коалицией,

отвечая на упреки в присвоении государственных СМИ очередной командой, ставшей у власти. Он говорит: «Государственные радиостанции следует оценивать по их миссионерским обязанностям. Как мы делаем свою работу — хорошо или плохо? Помогаем польской культуре дойти до граждан или нет? Заботимся ли о стандартах польского языка и публичном дискурсе? А парламентский секундомер, показывающий, сколько времени какая партия хвасталась перед микрофоном, представляется мне недоразумением. (...) Присутствие политических партий в государственных СМИ следует систематически ограничивать». С этим последним утверждением действительно трудно не согласиться.

- Сегодня, однако, представляется, что лучшая гарантия послушно «аполитичных», то есть расположенных к нынешним правящим верхам, СМИ — контроль иностранных инвесторов над ними. «Крупнейший издатель прессы в Европе [концерн Акселя Шпрингера], — пишут Анна Налевайко и Матеуш Сосновский, — который в нашей стране издает, в частности, „Дзенник“, „Факт“ и „Ньюсуик“, купил 25,1% долевого участия в принадлежащем Зигмунту Соложу телеканале „Польсат“, заплатив 250 млн. евро. (...) Он заявил, что не желает ни иметь своих представителей в правлении, ни влиять на программу. (...) Вхождение иностранного концерна в польское СМИ — очередная такого рода инвестиция за последнее время. Недавно в ТВ „Пульс“ [общепольский католический канал] вложил капиталы американский магнат Руперт Мэрдок, а в РМФ ФМ [самая популярная до настоящего времени частная радиостанция] — немецкое издательство „Бауэр“».

- 13 декабря исполнилось 25 лет со дня введения военного положения — памятного события в жизни многих поляков. По всей стране прошло большое количество посвященных этой годовщине культурных мероприятий. Мы здесь хотели бы напомнить только об одном авторском просмотре — документальных фильмов финского режиссера Ярмо Яскалайнена, который много лет провел в Польше и стал невольным летописцем определенной эпохи в жизни польской демократической оппозиции. «Глубоко укорененный в нашей культуре, он снимал для финского телевидения с помощью польских операторов в условиях полной свободы документальные фильмы, запечатлевшие польский путь к свободе». Это, в частности, картины «Оплот» — о паломничестве в Ченстохову во времена «Солидарности», «Свобода за стенами» — об интернированных во время военного положения, «Месса за отчизну» — об убийстве

священника Ежи Попелушко. И, пожалуй, самая знаменитая из них — снятая в 1978 г. «Смерть студента», запечатлевшая проведенное Ярмо Яскалайненом частное расследование дела об убийстве польской госбезопасностью активиста демократической оппозиции краковского студента Станислава Пыяса. «Сегодня этот фильм производит ошеломляющее впечатление, — пишет Петр Липинский, — (...) никто не смог так точно и правдиво передать атмосферу тех лет, как это сделано в „Смерти студента”». Премьера этого фильма в Польше — правда, показанного на самом серьезном Международном теле- и радиофестивале «Prix Italia» — состоялась лишь в год 25-летия введения военного положения, почти через тридцать лет после событий, отраженных в фильме. Хорошо бы и сегодня помнить о героях тех событий.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Я со вниманием изучил интересную статью, посвященную калининградскому анклаву и напечатанную в ежеквартальном журнале «Национальная безопасность» (2006, №2), который издает Бюро национальной безопасности. Статья Бартоша Мусяловича озаглавлена «Калининград — пилот российской политики по отношению к ЕС?». Большая часть текста посвящена политической специфике Калининградской области. Автор пишет:

«Особая чувствительность Кремля к вопросу о независимости Калининграда вытекает из по-прежнему существующих и высказываемых опасений потери контроля над отделенной от остальной страны областью. Обсуждение этой темы среди российских комментаторов, политиков и журналистов не прекращается, хотя похоже, что ведется оно в большей мере для внутреннего потребления (пропагандистского), с целью сплотить общество (особенно жителей области) вокруг политики Кремля. Кроме того в последние годы появились сигналы, говорящие о растущих “сепаратистских настроениях” среди жителей области. Если им верить, то за отделение от России высказываются 60% жителей области в возрасте младше 28 лет, хотя достоверность этих сведений трудно проверить. Быть может, на общественное мнение калининградцев оказывает тот факт, что они куда чаще ездят на Запад, чем в Россию (по некоторым данным, 90% молодых калининградцев уже по несколько раз побывали в Польше, Литве и Германии, в то время как в России — ни разу). С целью повышения популярности России здесь запущена образовательная программа “Мы, россияне”. (...) Формой ответа Кремля на возможные поползновения к автономии стало назначение из Москвы нового губернатора, который привез с собой своих политиков: им предстоит укрепить контроль над этим регионом».

Рисуя возможные сценарии развития ситуации, Мусялович пишет: «По-видимому, Россия, поставленная перед совершившимся фактом в виде расширенного Евросоюза, была вынуждена принять решение по калининградскому вопросу, а вероятно, и по вопросу других приграничных территорий. Для

описания и объяснения проводимых в области реформ применяется концепция “пилотного региона” в отношениях России с Евросоюзом. Может быть, кремлевские власти будут использовать Калининградскую область как опытный полигон по выработке политических, административных и социально-экономических решений, которые затем можно было бы применять в других регионах РФ, и не только приграничных. Поэтому возможно, что если некоторые решения, примененные здесь Кремлем, окажутся успешными, то их применение можно будет наблюдать в других регионах страны. Концепция Калининградской области как пилотного региона в будущих отношениях России с Евросоюзом кроме потенциальных шансов развития самого региона несет в себе также важное послание российской внешне политики. Этот “пилотаж” отношений РФ—ЕС означает функционирование области исключительно как субъекта РФ, ограниченная самостоятельность и привилегированное правовое положение которого вытекают исключительно из особой роли, отведенной ей Кремлем. Отсюда, можно сказать, следует, что эта позиция области будет обоснованной так долго, как долго она будет пригодна для “пилотажа” отношений России с Евросоюзом. Выход за “пилотную” роль тоже выглядит маловероятным. Существенный элемент калининградского “эксперимента” и административной реформы — стремление обеспечить полный контроль за развитием событий в области. Это стремление проявляется в том, что на пост губернатора назначен «человек из Москвы», обеспечен прокремлевский перевес в областной думе и т.п. Удачное и по существу бесконфликтное проведение административной реформы тоже может подсказывать, что подобный сценарий в недалеком будущем мы можем наблюдать в других регионах РФ. (...)

Сегодня трудно оценить, будет ли проведена в жизнь амбициозная программа реформ, обещанная Г.Боосом. Судьба этой программы в большой мере будет зависеть от позиции Г.Бооса по отношению к влиятельным кругам кремлевской верхушки и от степени самостоятельности, которую он захочет получить».

Я прочитал этот текст внимательно, так как вспомнил проект, выдвинутый в начале 90-х на страницах немецкой газеты «Цайт» ее главным редактором графиней Марион Дёнхоф, которая предлагала создать в Калининградской области своего рода свободную экономическую зону под политическим контролем Германии и России. Это, правда, были совсем другие времена, однако независимо от обстоятельств, в которых

обсуждается калининградский вопрос, нельзя не думать об исторических перипетиях этого клочка земли, ныне российского, но до 1945 г. пережившего бурные повороты судьбы. Это типичный «узел пограничья», где смешивались влияния многих культур и традиций. Сегодня, когда этот российский анклав — единственный отрезок России, прямо граничащий с Польшей, — существенным становится вопрос не только о его роли в отношениях между Россией и Польшей; здесь, на пограничье, в тени великой политики развиваются контакты между неправительственными организациями, хотя бы например между ольштынской культурной общиной «Боруссия» и ее калининградским аналогом. Одна из главных целей ольштынской организации, как записано в ее программе, — «создавать устойчивые контакты и строить гражданское общество в Калининградской области, западной Литве, а также в Вармии и на Мазурах». Одним из инструментов проведения этой программы в жизнь стал проект «Польско-российское трансграничное сотрудничество».

Что такое Калининград сегодня? На этот вопрос поляки снова и снова ищут ответ, плодом чего стала книга эссе Анджея Менцеля «Калининград, любовь моя». Поэтому не приходится удивляться, что интерес к происходящему в этом российском регионе в Польше сохраняется и довольно силен, но в то же время не лишен опасений.

Но интересна не только российская политика. Недавно на конференции, посвященной литературе наших соседей, организованной Объединением польских писателей, я слушал необычайно интересный доклад Якуба Садовского, посвященный современным тенденциям русской литературы. А из Познани я получил журнал «Порувнаня» («Сравнения», 2006, №3), посвященный, как написано в подзаголовке журнала, «вопросам литературной компаративистики и интердисциплинарным исследованиям». Этот последний номер открывается статьей Моники Вуйцяк «Самиздат. Из истории возникновения и развития независимой литературы в СССР». Редакция дополнила статью целым рядом рецензий на книги, посвященные истории издательского подполья в коммунистическом лагере, вышедшие в последние годы в России, Германии и Чехии. Автор пишет — и это, пожалуй, покажется интересным не только польским читателям — о началах самиздата:

«Во второй половине 1940-х поэт Николай Глазков, которого не печатали, перепечатывал свои стихи на машинке, скалывал или сшивал листки в маленькие книжечки, а на первой

странице писал “Самсебяиздат”, после чего раздавал сборники друзьям и знакомым. Первые авторские издания поэта датированы 1946 годом. Ирония, юмор, анекдот лежат в истоках этого важного культурно-политического события. Первый самиздат, что следует еще раз подчеркнуть, — это сборники стихотворений, листки с перепечатанными стихами. Проза появилась в издательском подполье только во второй половине 50-х». С удовольствием отмечаю, что и в России поэтов отправляют — или они сами отправляются — на первую линию фронта.

Обширное и интересное описание истории советского самиздата автор завершает рассмотрением отношений между самиздатом и распространением независимой литературы в Польше (т.н. «второй оборот»): «Русский самиздат положил начало неподцензурной издательской деятельности, зато польское подполье достигло наибольших успехов, если учитывать размах, количество, полиграфическое качество подпольной печати. (...). Польский “второй оборот” возник в результате социально-политических событий, конкретно — в связи с созданием Комитета защиты рабочих; многие подпольные публикации писались и печатались как отклик на политические события. Это совершенно очевидно, и этот факт сближает самиздат в Польше и СССР. Но советское диссидентское движение (...) не приобрело формальной структуры, как наша “Солидарность”. *Differentia specifica* заключалась в масштабах подпольной активности: в Польше оппозиционная деятельность охватила массы. Стоит, однако, помнить, что в Польше была очень сильная католическая Церковь и что приходские, прицерковные структуры становились тылами общественной интеграции, независимой от власти. Кроме того [польское] демократическое движение 70-80-х годов черпало образцы из традиций движений за независимость в эпоху разделов, подпольного государства и нелегальной деятельности во время II Мировой войны, а также периода “выскальзывания” ПНР из сталинских структур начиная с “польского октября” 1956-го. Наконец, сами методы оппозиционной политики, вообще политики, формировались в рамках другой политической культуры. К историческим, географическим, культурным различиям следует также добавить вопросы умонастроения. Речь идет о том, как понимались ключевые для политической борьбы понятия, такие как свобода, правда, власть, политика и т.п. Следует принять во внимание и обстоятельства создания независимых структур и движений, ибо нельзя анализировать советское подполье, не сознавая, чем там был страх. (...) Страх в Советском Союзе составлял фундамент системы. Не без причины

безымянный русский автор первой работы о польских событиях 1980–1982 гг., ходившей в самиздате, писал, что революция “Солидарности” стала возможна благодаря тому, что Гомулка первый раз в истории попробовал ввести “социализм без тюрем”: прекращение арестов и значительное понижение уровня репрессий снизило и уровень страха».

Далее Моника Вуйцяк пишет: «Особенно важно не забывать о всяческих попытках протеста, предпринятых диссидентами и самиздатчиками. Их деятельность вызывала у польских оппозиционеров восхищение, часто их вдохновляла, наверняка служила примером. Соавтор первого неподцензурного литературного журнала “Запис” Виктор Ворошильский признавался, что, готовя альманах, брал за образец самиздат. Сам термин как символ неофициального распространения литературы в самом начале широко в Польше употреблялся. (...) Встречи с представителями советского подполья были важным и ценным опытом для польских оппозиционеров. (...) Однако самым главным связующим материалом между обществами в тот период была независимая литература и публицистика. Благодаря многочисленным переводам [с русского на польский] у нас стало возможно открыть “другую Россию” — независимую, творческую и близкую».

Что тут прибавить? Разве что реально случившийся анекдот. В начале военного положения мы собирались выпускать в подполье ежеквартальный литературный журнал «Везване» («Призыв»). Мы обсуждали, а нас молча слушал тонкий лирический поэт, вдобавок буддист, несколько оторванный от действительности. Через некоторое время, когда мы размышляли, где бы нам найти возможность печатанья журнала, он включился в разговор: «Слушайте, с печатью сложностей не будет. Я могу это устроить. Но скажите: кто такой этот Солженицын, о котором вы столько говорите?» Услышав такое, я чуть не свалился со стула. Мы ему, конечно, сказали, кто такой Солженицын и почему он так для нас важен. И потом вышло 17 номеров нашего журнала.